

ВИДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

2

Annotation

В 1847 году в «Отечественных записках» появилась повесть В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый». Главный герой этой повести отражает поиски автором положительного идеала своего времени. В молодости Игривый – деятельный помещик, благородный, добрый и отзывчивый человек. Кончается же повесть тем, что Игривый, обрюзгший, пожилой человек, лежит на диване, держит в руках истасканную книжку, ничем не интересуется, много спит. А ведь когда-то он был способен на большее. Вся его жизнь была безграничным самоотвержением во имя любимой женщины. Подвиг этот окончен, и вместе с ним утрачен смысл человеческой жизни.

- [Владимир Иванович Даль](#)
 -
 - [notes](#)
 -
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
-

Владимир Иванович Даль

Павел Алексеевич Игривый

В небольшой комнате было два стола – один так называемый ломберный, складной, очень ветхий, другой сосновый, который некогда был выкрашен голубой краской, затем белой и, наконец, красной, и потому на вытертых углах и лысинах стола видны были все три слоя краски. Еще стояло тут семь стульев – пара очень затасканных, оплетенных осокой, пара вовсе деревянных, как будто дружки сосновому столу, но один был облечен в первоначальную масть этого стола, то есть голубой, а другой, по-видимому, принял участие во втором перевороте и оделся в белую сорочку; пара тяжеловатых кресел неизвестного склада и масти, одетые издавна пестрядевыми чехлами, видимо состояли в близком родстве с таким же раскидистым диваном; подушка седьмого стула, наконец, если рассмотреть ее тщательно, показывала, что была когда-то вышита шелками по сукну или казмиру неопределенного цвета, но все это давно поблекло, полиняло, шелк местами вовсе повытерся, казмир посекея. В комнате стоял еще перекосившийся шкаф, доживавший век свой пузатый комод, горка с трубками величиною с Гаркушин курган [1], а стены были увешаны несколькими старообразными ружьями и другими отставными охотничьими припасами, а также старосветскими картинами в красных узеньких рамочках.

На диване лежал человек средних лет, рослый, плотный, видный, в весьма поношенном халате; он читал какую-то истасканную книжонку, или по крайней мере держал ее в руках, и сосал погасшую трубку. Среди пола лежал в растяжку большой легавый пес, ворчал и лаял про себя во сне.

Павел Алексеевич Игривый – так звали этого барина – оглянулся с улыбкой на своего любимца, потянул опять трубку и, заметив, наконец, что она погасла, закричал: «Эй, Ванька!» Иван вошел, не говоря ни слова, подал барину на смену другую трубку, а покойницу унес для дарования ей новой жизни, то есть для чистки и набивки.

Много пять минут продлилось молчание, прерванное несколькими вздохами и зевками барина и бессловесными возгласами его любимца, как опять раздалось: «Эй, трубку!...» По третьему подобному призыву своему, однако же, помещик наш встал, потянулся, спросил у Ваньки: «А что, рано еще?» И узнав, к своему удовольствию, что уж не так рано, а час девятый, решил, что пора спать, и пошел в соседнюю почивальню. Ванька последовал за ним. Здесь мебель ни в чем не уступала кабинетной: односпальная кровать о двух тюфяках и двух перинах, с целой копной подушек и бессменными на вечные времена занавесками, стояла во всей готовности для приема в недра свои хозяина.

– Ну, брат Ванька, – сказал он, – коли так, отойдем, помолившись, ко сну. Ты раздень и разуй меня, уложи меня, накрой меня, подоткни меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну я сам.

– Да никак, сударь, – сказал Ванька, – и дворня-то вся спит без просыпу. Хоть бы приказали собратья да волков поугатать; ведь вот вечер телку зарезали у Карпова, того гляди ребят обижать станут. Бывало, вы, сударь, охотились сами.

– Э, бывало! Было, да быльем поросло. Пожалуй, соберитесь па днях да поохотьтесь себе.

– То-то, сударь, холостому человеку все не в охоту; хоть бы, сударь, невесту себе выбрали да женились, и мужики все жалеют об вас.

Барин захохотал.

– Эка, вовремя собрались пожалеть! Нет, брат, уж мои невесты, чай, давно на том свете козлов пасут... Эка забота моим мужикам! Ну, видно ж, им не о чем больше тужить: по грибы не час и по ягоды нет – так хоть по еловы шишки.

– А что ж, сударь, и вестимо, что так: они за вашею милостью живут захребетниками и не тужат, а вам так вот, видно, скучно; была бы хозяйка...

– А зови-тка ради скуки Меледу с понукалкой, так вот и уснем под шумок и размыкаем горе.

Меледой прозвали сказочника Гаврюшку, своего, доморощенного поварского помощника, который в четыре года не мог выучиться готовить простых щей с забелкой, отговариваясь тем, что все ночи напролет сказывает барину сказку и потому днем должен спать,

вследствие чего-де и учиться некогда, да и проспал память. Меледа вошел разутый и полураздетый, принес по обычаю под мышкой одр свой – войлочек и подушонку, постлал его в ногах у барской кровати, присел на него, почесываясь, и ждал барского «ну». В то же время вошел в комнату еще другой человек, одетый и обутый, но с такой дурацкой рожей, что посторонний не мог бы взглянуть на него без смеха. Он стал спокойно у дверей, сложил руки, выставил одну ногу и принялся зевать, будто по заказу, растворяя пасть как широкие ворота и поднося то ту, то другую руку к бороде и растопыривая все пять пальцев. Лицо это было известно в доме под должностным званием *понукалки*, а Меледа называл его обыкновенно дармоедом и надоедалой. Это была также ночная птица для потехи барина; обязанность его состояла в том, чтоб не давать уснуть преждевременно сказочнику и понукать его, если тот задумается или запнется. Когда один из приятелей Павла Алексеевича спросил его, глядя на эту знаменитость, откуда он достал такого уroda и свой ли он, то Павел Алексеевич отвечал: «Нет, это наемный, проскуровский мещанин, я плачу ему по четыре целковых в месяц да отпускаю еще месячину. Свой на это дело не годится, сам первый уснет наперед сказочника, тогда что я с ним стану делать – браниться да драться? Нет, этого я не люблю. А этот боится, знает, что сгоню со двора, коли нехорошо служить станет, так он и держит ухо остро. Притом и я к нему привык: не могу глядеть на него, чтоб не стало клонить ко сну, а как растворит ворота да зевнет – так тут и я уснул».

Когда все это устроилось в порядке и оба должностные лица заняли свои места, Павел Алексеевич покряхтел, потом вздохнул, там зевнул и промычал: «Ну». Сказочник начал покрякивать, а понукалка приосанился и с этой минуты вступил в свою должность. Командное словечно «ну» развязывало и ему самому язык на это же коротенькое словцо и давало ему власть понукать сонного сказочника. Этот начал очень плавно и бойко, молол с четверть часа безостановочно, а там забормотал менее внятно и захотел перевести дух. «Ну», – начал его пришпоривать понукалка, у которого также слипались глаза, но который не смел прилечь, чтоб не заснуть, и все стоял на своем месте. «Ну...» Меледа крякнул и продолжал:

– На том на море на окяине, на острове на буяне стояла береза – золотые сучья, на тех на сучьях яблочки серебряные, в них зернышки

– граненый алмаз...

– Ну, – начал опять от скуки понукалка, покачиваясь и не слушая, впрочем, говорит ли тот сказку или дремлет.

– Стояла корова – золотые рога; на одном рогу баня, на другом котел: есть где помыться, попариться...

– Ну...

– Ну да ну; чего ты нукаешь?

– Да, вишь, ты не бойко говоришь, дремлешь...

– Сам ты дремлешь, дармоед; гляди: затылком двери пробил; а я не дремлю... На том на острове текут речки медвяные, сытовые, берега кисельные; девка выйдет, ударит коромыслом, черпнет одним концом – зачерпнет два красна холста; черпнет другим...

Тут Павел Алексеевич всхрапнул довольно внятно и несомненно; сказочник, сидя на полу и обняв руками колени, понурил на них голову и замолк, а понукалка не счел уже нужным его тревожить и, постояв еще немного, вышел в соседнюю комнату и там прилег.

Часу в седьмом утра Павел Алексеевич проснулся, и все в доме зашевелилось. Обувшись в бараньи сапожки домашней выделки и в халат свой, он умылся, помолился и стал советоваться с Ванькой, чего бы выпить сегодня: малины ли, бузины ли, шалфею, липового цвета, кипрею, ивана-да-марьи, ромашки с ландышами или уж заварить настоящего чаю? И Ванька рассудил, что бузина пьется на ночь для испарины, малина после бани, шалфей в дурную погоду, липовый цвет со свежими сотами, иван-да-марья и ромашка, когда неможется, кипрей, то есть копорский или иван-чай, по нужде, за недостатком лучшего, и потому полагал заварить сегодня настоящего китайского чаю, что и было исполнено. От чая сделан был незаметный переход к завтраку; а между тем староста, мельник, скотница и другие сельские сановники отбывали доклады свои и получали приказания. По временам книжка будто невзначай опять попадала в руки Павла Алексеевича, но вскоре другие занятия развлекали его и вековая книжка оборачивалась корешком кверху. Не успели оглянуться, как Иван подал щи, кашу да жаркое; там оказалось полезным отдохнуть часика два; там Павел Алексеевич прошелся по хозяйству и по саду, напился липового цвета с сотами, разобрал несколько ссор и жалоб, отдал приказания на завтрашний день, осведомился, не рано ли, и,

услышав, что девятый, поспешил перекусить немного, помолился, лег, и Меледа с понукалкой явились снова тем же порядком, как и вчера.

Вот ежедневный быт, будничная жизнь Павла Алексеевича. По праздникам он облачался в сюртук бурого или кофейного цвета, выпускал белый воротничок, брал соломенную шляпу или полутеплую фуражку, смотря по погоде, трость и белые перчатки, которые, впрочем, никогда не надевались, и отправлялся в церковь, бывшую у него же на селе. Иногда, хотя довольно редко, кто-нибудь заезжал к нему; еще реже он бывал у других; но настоящим праздником для него был тот почтовый день, в который гонец привозил ему из города письмо. Такое письмо, казалось, одно только привязывало его всей душой к жизни; Павел Алексеевич оживал, был в тот день деятельнее и веселее и, прочитав письмо раз-другой про себя, перечитывал его еще Ваньке и одной дворовой женщине, известной в доме под названием мамушки.

Что же читатели скажут о Павле Алексеевиче, о быте его и роде жизни, которую мы старались изобразить точно и верно? Я думаю, что иной, может быть и вовсе незлобный, столичный житель готов будет с чувством собственного достоинства пожать плечами и назвать его животным; может быть, даже и самый снисходительный приговор будет еще довольно жесток для скромного деревенского жителя и не избавит его от сострадательного презрения. Но всегда ли наружность достаточно изобличает внутреннюю ценность человека? Почему знать, что помещик наш передумал и перечувствовал на веку своем, невзирая на бесчувственную, довольно плоскую и бессмысленную наружность?

Лет тому двадцать пять в сельце Подстойном помещичья семья сидела за вечерним самоваром и с нетерпением ждала кого-то. Живой и плотный белокурый старик, в долгополом домашнем сюртуке, с огромными усами, с большими, но бессмысленными серыми глазами, с отставными военными ухватками и молодечеством, похаживал взад и вперед, то останавливался у открытого окна, плядел и прислушивался, то посматривал на стенные часы с двумя розочками и двумя незабудками по углам и наконец, продувая трубку свою, сказал:

– Нет, уж видно, я говорю, сегодня не будет.

– А может быть, и будет, – заметила хозяйка его, заглянув в чайник и прибавив туда на всякий случай водицы. – Ведь ему надо

быть к сроку, к ярмарке; а уж он, чай, не обманет, коли обещал заехать к нам по пути да привезти весточку от Любаши.

– Ну, загулялся в Костроме, – возразил старик. – Человек, я говорю, молодой, поехал в город, да еще с деньжонками, так ему и не до Любаши; она еще ребенок.

– Никак едут-с, – сказал, вошед торопливо, слуга, указывая слегка в ту сторону, откуда ждали гостя.

– Ну, вот видишь, – проговорила хозяйка с изъяснением радости, – между тем как хозяин вышел на крыльцо, а вслед за тем обнял желанного вестника и при громогласном разговоре ввел его в комнату.

– Уж и ждать было перестали! – так встретила его хозяйка. – Особенно Иван Павлович, говорит: видно не будет; а я все жду-пожду; нет, говорю, будет... Чайку прикажете с дороги или закусить чего?...

– Благодарю, – отвечал молодой человек, – чашечку выпью, но я тороплюсь домой, немножко позамешкался, позадержала Любовь Ивановна...

– Как, она? Не-уж-то? Голубушка моя! Что ж, видел ее? Что она? Не скучает? Здорова?... – Так посыпались вопросы матери.

– Здорова, – отвечал тот, немного зарумянившись, – и шлет вам много поклонов и поцелуев; я раза три навещал ее.

– Уж и поцелуй! – сказал, захохотав, отец. – Слышите, что я говорю? Я говорю; уж и поцелуй; ха-ха-ха!

– На словах, разумеется, – возразил приезжий. – И хотя словесный поцелуй, да еще и передаточный, утешителен для того только, кому назначен, но я принужден был покориться строгости костромских пансионских правил, по которым не дозволяется даже поцеловать ручку воспитанницы!

– Смотри, пожалуй! – стал опять острить отец. – Дети они, дети, а только покинь их без присмотра, тотчас вот по натуре своей наколобродят... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: вот тотчас по натуре своей и наколобродят.

– Да порасскажите ж нам, голубчик Павел Алексеевич, что-нибудь о Любаше, – сказала с нетерпением хозяйка, выручив этим молодого человека из замешательства, в которое поставило его бестолковое, но громогласное замечание Ивана Павловича. – Расскажите, что она, моя голубушка, и как?

Павел Алексеевич принялся выхвалять Любашу с большим чувством, и сознание, что он может и даже обязан делать это в настоящем своем положении, отдавая об ней отчет ее родителям, доставляло ему большое утешение. Вскоре у матери на глазах навернулись слезы, старик, стоя, наклонился вперед и подымал брови все выше да выше, как будто прислушивался внимательно, а между тем беспрестанно перебивал всех остротами своими и заставлял выслушивать их по два и по три раза, приговаривая: «А слышите, что я говорю? Я говорю: ха-ха-ха!»

– Начальница и дамы не нахвалятся ею, – продолжал Павел Алексеевич, – а вы не нарадуетесь, когда свидетесь. Она выросла, уже почти совсем сложилась...

– Ох, боже мой, – сказала мать, всплеснув руками. – В эти годы, можно ли?

– А что ж, матушка? – заметил отец. – Ведь и ты по шестнадцатому году за меня вышла, вспомни!

– И то правда, – отвечала она, сосчитав что-то по пальцам. – Да ведь она ребенок еще, видит бог, ребенок...

– Ну, ребенок, – заревел Иван Павлович, позабыв, что он сам сейчас называл дочь ребенком, – ну, такой же ребенок, как и ты! Ха-ха-ха! Слышите, что я говорю!

– Как, мать такой же ребенок, как и дочь?

– Ну да, матушка, да ведь я говорю о прошлом, я говорю...

– Да, о прошлом! Ох, разумеется, все мы были праведными младенцами...

Расторопный слуга вошел и спросил робко у барина, не будет ли каких приказаний насчет чего-нибудь, и при этом покосился как-то странно на гостя. Это значило: кучер гостя ужинает, так не напоить ли его пьяным, чтоб барина задержать по обычаю на ночь, или уж не снять ли на всякий случай у брички колесо? На этот раз подобных распоряжений не последовало: хозяин знал, что гостю надо быть дома к сроку и ехать на ярмарку, и потому после долгих прощаний, благодарений, дружеских приглашений и благословений его благополучно отпустили.

– А о косе-то я и позабыла спросить! – ахнула, старушка, когда бричка покатила со двора, и кинулась было к окну, но опоздала. –

Сама Любаша ничего толком не напишет... такой ветер! А я и не знаю, выросла ли у нея коса-то, хоть бы вот четверти в три?

– Выросла, матушка, – утешал ее отец, – слышишь: сложилась девка совсем. Ха-ха-ха! И выросла и сложилась!

Скажем теперь, проводив Павла Алексеевича, что это был сосед в шести верстах от старика Ивана Павловича Гонобобеля и супруги его Анны Алексеевны, к которым мы сейчас заглянули. Мы были там невидимками, и потому с нашей брочки также колес не сняли; но редкому гостю удавалось выехать из сельца Подстойного без этой проделки.

Павел Алексеевич Игривый, полный хозяин хорошенького именища Алексеевки, возвратился года за полтора из университета, не кончив курса, для приема имения своего по случаю внезапной смерти отца и взялся за хозяйство. Он съездил теперь по своим делам в Кострому и привез любезным соседям весть о дочери их, которая, как мы слышали, оканчивала свой учебный курс в частном пансионе, названном на вывеске, не знаю, почему, *Образцовым*.

Полчаса, которые Игривый ехал от Подстойного до Алексеевки, прошли в таком же точно сладостном забытии и бессвязных, розовых мечтах, как все время пути от Костромы до Подстойного. Павел Алексеевич думал о том, что Иван Павлович прав и Любаша вовсе не дитя, как полагала Анна Алексеевна; что сам он сказал истинную правду относительно строгости пансионских учреждений и одной только словесной передачи поцелуя, хотя, в сущности, такое задушевное, заповедное рукопожатие, каким он мог похвалиться, едва ли не перевесит иного необдуманного, легкомысленного поцелуя; что, наконец, Любаша неизъяснимо мила, несмотря на свой возраст отроковицы... Вот сущность мечтаний Игривого, который не скучал перебирать думу эту со всех концов, разыгрывать ее на все лады и тешиться ею па просторе. Обстоятельства не позволили ему кончить университетского ученья и заслужить ученую степень [2]; но он твердо намеревался сделать это при первой возможности, приведя дела свои в порядок, с нетерпением рассчитывал и соображал он теперь что-то по годам и месяцам и заглядывал в будущую судьбу свою гораздо далее вперед, чем это нам дозволено.

Годик прошел незаметно; в Подстойном и в Алексеевке все оставалось по-старому, с тою только разницей, что Игривый соскучал

без Костромы, к счастью, вскоре опять нашел необходимым съездить туда по своим делам и опять привез много поклонов от Любаши; а затем наконец ныне событие необычайное было на мази в Подстойном: Гонобобель с хозяйкой снаряжались в путь-дороженьку, все в ту же Кострому, и притом уже за своей Любашей. Она окончила свое образцовое пансионское ученье. От суеты и крика Ивана Павловича вся дворня стояла всенощную уже семеры сутки сряду; дорожный рыдван выкатывали на широкий двор и опять подкатывали в сарай раз по пяти на день. Хозяин сам ничего не смазывал и не увязывал, но ходил день-деньской в дегтю и в смоле и не выпускал из рук какой-то толстой бечевки. Все приказания его отдавались дважды и трижды в один дух, с сильным ударением на «я говорю», но одна часть приказаний этих была уже исполнена накануне, а другая до того противоречила первым или даже самому здравому смыслу, что «сейчас» и «слушаю-с» вырывались из уст прислуги только по исконному обычаю, а вовсе не для того, чтоб кто-нибудь думал об исполнении. Анна Алексеевна переправлялась по несколько раз в день из задних покоев в сарай с несколькими попутчицами из девичьей: все они были навьючены и нагружены, как верблюды, и вся поклажа эта, большею частью съестные припасы, укладывалась тихомолком в рыдван.

«Половину этого Иван Павлович непременно выбросит вон, – думала скромно про себя Анна Алексеевна. – Так пусть же другая половина останется: дорогою пригодится. Кострома не близкий свет: на своих неделя езды».

Тут были не только крендели, кокурки, пироги, курник и пирожное всех родов, но были и сушеные вишни, и яблоки, и даже моченый горох, собственно для Ивана Павловича. До моченого гороха Иван Павлович был страстный охотник, ел его о всякую пору, особенно дорогой, и им-то Лина Алексеевна очень удачно затыкала мужу рот, когда он начинал ворчать слишком упорно и назойливо.

Игривый навевывался в это время почасту к соседям, и не раз уже вырывались у него такие странные выражения усердия и готовности быть чем-нибудь полезным при снаряжении их в дорогу, что походило на то, будто ему хотелось скорее их выпроводить. Казалось бы, они ему ничем не мешали тут – но, видно, он думал об этом иначе, или даже у него была тут какая-либо не прямая, а косвенная думка.

Наконец взошло то солнышко, которому суждено было до заката своего осветить поезд Гонобобеля из Подстойного в Кострому. Рыдван шестерней да троичная телега стояли у подъезда. Несметная дворня, разделенная на две густые толпы, стояла направо и налево от крыльца, острила над кучером и выносным, над девкой в дорожном уборе, в какой-то куцей куртке и барыниных башмаках и ожидала господ. В покоях послышались голоса: барыня простилась с кошками своими в девичьей и там отдала уже все приказания насчет корма и присмотра за ними; но барин прощался с собаками гласно, как на мирской сходке.

– Кирюшка! – кричал он, стоя на крыльце. – Да чтобы навар был дважды в педелю, слышишь, а по будням овсянка – слышишь? Я говорю, чтоб они праздник знали... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – и народ, кланяясь угодливо, от души засмеялся.

– Это что? – спросил Иван Павлович, остановившись на втором приступке кареты.

– Дорожные припасы, мой друг, – отвечала примирительным голосом Анна Алексеевна.

– Это вон – ха-ха-ха! И вот это вон, и это вон, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – И узлы с мешками летели из рыдвана в открытые двери. Дворня подхватывала мешки и мешочки на лету и по знаку Анны Алексеевны передавала все это втихомолку на запятки и в телегу. Довольный этою победой, Иван Павлович весело уселся, сказав: – Ну, вот теперь милости просим, матушка Анна Алексеевна! Слышите, что я говорю, – а? Вот теперь милости просим – ха-ха-ха!

Поклоны и пожелания дворни посыпались громогласно; кучер свистнул, тряхнул вожжами, и карета покатила. Телега была нагружена перинами, подушками, девками, овсом и бог весть чем, а потому большая часть узлов и мешков, вылетевших из кареты мановением руки Ивана Павловича, поступили на временное попечение того, кто сидел на запятках. Бедняк обнял во все руки и держал целый воз поклажи, так что ни он не видел свету, ни свет не видал его.

– Вот это у немцев считается миля, – сказал Иван Павлович, выглядывая из окна и вспоминая былое время походов. – Это семь верст.

– Ах ты, боже милостивый! – проговорила, словно проснувшись Анна Алексеевна и закрыла лицо руками.

– Что там такое?

– Ох, уж не знаю, как и сказать, Иван Павлович! Надо же такому греху случиться...

– Да что же такое? Говори, я говорю.

– Да ларец с Любашиным бельем ведь позабыли, весь...

Гонобобель вспыхнул как ракета и рассыпался звездочками в упреках и нравоучениях. Сто раз повторил он, что уже не воротится и что Анна Алексеевна может теперь управляться как ей угодно. Проехав, однако же, еще версты две, он закричал: «Стой!» – велел отпрячь лошадь из-под телеги и послал за ларцом, приказав привозить его прямо на ночлег. Нравоучения все еще сыпались обильно, но, по явному истощению запаса, повторялись все одни и те же, и притом майор брюзжал даже с некоторыми расстановками, переводя дух с большою свободой. Тогда Анна Алексеевна, все не говоря ни слова, рассудила, что пора прибегнуть к моченому гороху: молча подставила она супругу своему мешочек; старик жадно запустил туда руку и, набивая рот горстями, ворчал уже так бессвязно и невнятно, что Анна Алексеевна вольна была принять это за молчание или даже за изъявление удовольствия.

Минуем теперь прочие события на пути четы нашей в Кострому, даже и то, что на первом привале, где стали закусывать, оказались в наличности одни только вилки, и притом полная дюжина, а ножей не было ни одного; оставим и то, что Гонобобель нашел в карете козла в мешке, как он уверял, и кричал, и хохотал и бесновался, и показывал всем людям, что барыня взяла с собою на дорогу козла в мешке, и заставлял всякого ощупывать рога, и велел его выкинуть вон, – и как, наконец, оказалось, что это был вовсе не козел с рогами, а кисеты с табаком и запасными трубками самого Ивана Павловича, – оставим, говорю, все то и пойдем вместе с родителями встречать и принимать из пансиона единственную дочь их, Любашу.

Странно, скажу и я при этом случае в скобках, приглашая всех и каждого послушать, что я говорю, – странно: все пансионы, воспитательные и учебные заведения учреждаются, как должно полагать, для того, чтоб воспитать и образовать человека вовсе не для пансиона собственно, а для света, в котором всем нам приходится

жить... А между тем, пошлюсь на любого, – этому ли там всегда учат или этому ли там научаются?...

Публичный экзамен, с музыкой и угощением и танцами, с венками и цветочными вензелями, с речами на трех языках, прощальными стихами и прочими принадлежностями, был уже окончен, когда Гонобобели вкатились в рыдване своем шестерней в Кострому. Большая часть выпускных девиц были уже разобраны родителями, прибывшими к этому экзамену, и Любаша, в сиротстве своем, несмотря на живой и веселый нрав, пролила уже немало слез, глядя в томительном ожидании на своих подруг. Она, запыхавшись, вне себя выбежала навстречу родителям, пропустив на этот раз вовсе мимо ушей столь важные и дельные наставления начальницы, которая припоминала ей вслед, как себя держать, как приседать и кланяться и как приветствовать отца и мать. Она бросилась на шею матери, потом отцу, там опять матери, рыдала и смеялась. Анна Алексеевна плакала также навзрыд, и зрелище это вышло бы в самом деле невыносимо умильным, если б Иван Павлович не позаботился придать ему несколько более успокоительный оттенок. Старик встретил дочь громким и глупым смехом, врал и молол без умолку, обращая к стати и некстати внимание присутствовавших на умные речи свои. Девицы, вышедшие скромною вереницей в приемную проводить подругу свою и разделить с нею радость, стояли все в слезах и готовились заранее еще к обильнейшему плачу, – но они были до того озадачены поведением этого папеньки, что стояли в совершенном недоумении, как бесчувственные куколки. Сама даже начальница была поставлена в затруднительное положение и с свойственной ей находчивостью тотчас же приискала повод, чтоб пожурить вполголоса покорных овечек своих и тем отвлечь их внимание от странных замашек Гонобобеля. Но его нельзя было надоумить этим или сбить с кочу: как вежливый, светский человек, он, напротив, считал долгом своим придать более веселый вид этому свиданию и прощанию и занять девиц, а потому и обратился тотчас же к ним, засыпал их вовсе непонятными для них остротами и, забывшись несколько раз, протягивал руку, чтоб по привычке своей придержать своего собеседника за пуговицу. Он наступал на бедненьких, испуганных девиц вплоть и кричал почти в уши, то одной, то другой: «Слышите, что я говорю: я говорю, ха-ха-ха – я говорю: дочка переросла матушку

– а? Каков ребенок? Я говорю, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: невеста хоть куда – отбою не будет от женихов, – слышите? Ха-ха-ха! А ну, поди-ка сюда, – продолжал он, – поди да покажи-ка нам левое ушко свое, моя ли ты дочь, – ведь она у меня меченая, ха-ха-ха, – слышите, что я говорю? Она меченая у меня – ты ли это, не подменили ль тебя? Нет, моя дочка, моя; вот и меточка – видите, смотрите! Ушко поротое... ха-ха-ха!»

Кто взглянул бы в это время на розовое ушко Любаши, которое она, улыбаясь, подставила, а папенька ее держал между пальцев, тот мог бы увидеть на нем небольшой рубчик длиной с ноготок. Это, без всяких шуток, была метка, которою отец пометил дарованных ему богом детей, дочь и сына, чтоб они не затерялись или чтоб их не подменили. Благоразумие или предусмотрительность, достойные Ивана Павловича Гонобобеля.

Перерасти матушку, как заметил Иван Павлович, Любаше было, впрочем, не мудрено, потому что Анна Алексеевна едва доставала носом до средних петлиц на фраке своего мужа. Любаша была среднего роста, гибка и такого приятного очерка в стане, что казалось, было бы легко обнять ее двумя пяденями, приподнять и поставить перед собою на стол. Головка ее была живописна кругом и со всех сторон; светло-русые волосы с пепельным отливом, слегка извиваясь волной по обе стороны пробора, оттеняли немножко азиатское по складу личико, нежное, хотя немножко смугловатое, но с удивительною живостью и яркостью румянца. Большие голубые глаза, довольно резко обозначенные брови, прямой лоб, носик, который спереди казался несколько плосковатым, но сбоку представлял легкий погиб, резко обозначенные ярко-пунцовые губки, ямки на щеках, истинно калмыцкие, поднизанные на подбор зубки и изумительно прелестный погиб бархатной шеи – все это оживлялось еще необычайною жизнью во взоре и во всех движениях, несколько поспешных, но плавных и нежных, доказывающих, однако же, опытному наблюдателю, что здесь женственность была развита в высшей степени и первое впечатление, чувство брало верх над рассудком...

Между тем предусмотрительный сосед Гонобобеля, рассчитав, к какому времени можно ожидать соседей обратно из Костромы, и убавив на всякий случай денька три из этого счета, отправлялся

ежедневно под вечер, то пешком для прогулки, то верхом, то на дрожечках, в сельцо Подстойное, а иногда проезжал еще версты две за него и возвращался шажком домой. Он делал это, сам не зная к чему и для чего, делал потому, что ему хотелось гулять в эту сторону, а не в другую и что он волен был располагать и собою и временем. Никакой положительной мысли в нем не созрело: он детски играл мечтами и был счастлив.

Подъезжая однажды к усадьбе Ивана Павловича, он увидел на другом конце сельца облако пыли – вещь выиграло недаром: это катил рыдван шестерней и троичная телега. Дорожная поклажа усилилась еще и наросла разными покупками в губернском городе, и потому коробки, кузовки, картоны, мешки и узлы навалены были гора-горой как на телеге, так даже и на чердаке рыдвана, который, несмотря ни на какие возражения и остроты Ивана Павловича, в этом безобразном виде, круглый и пузатый, как готовый к отлету воздушный шар, величаво приближался к барской усадьбе. Игривый считал в это время всякое посещение неуместным и потому хотел было воротиться потихоньку домой; но, высматривая с осторожностью некоторые подробности этого поезда и стараясь по временам проникнуть взором в необъятную, темную хлябь через опущенное окно рыдвана, Павел Алексеевич невзначай встретил высунувшуюся оттуда головку: она кивала ему приветливо; затем, оборотившись на одно мгновение внутрь, казалось поспешно что-то проговорила и опять уже с улыбкою выплядывала в окно. За нею показалось в тени еще какое-то широкое лицо и, кажется, также третье, и, наконец, даже сидевший за каретой на горе Монблане Филька снял дорожный картуз свой и низенько раскланивался.

Нечего было делать – Игривый подъехал ко двору и, встретив хозяев у крыльца, стал их высаживать. Наперед всего вывалился сам Гонобобель, изъявляя громогласно радость свою при нечаянном свидании с дорогим соседом и строго приказывая всем слушать, что сам он, Гонобобель, говорит. Дворня окружила господ, стая собак бросилась с лаем и воем на почтенного хозяина и сбила его с ног; а какой-то шальной теленок, которого всполошили собаки, метался как угорелый между людьми, лошадьми, построумками и собаками, лягался и ревел благим матом. Гонобобель отбилась наконец от домочадцев и обнялся с гостем, взяв его при этом случае руками за

уши, как самовар; он сам не мог нарадоваться этой замысловатой выдумке и кричал и объяснял ее после целый день. Высаживая Анну Алексеевну, Игривый поцеловал у ней ручку и не успел покоситься через старуху в рыдван, как третья и последняя птичка уже выпорхнула оттуда сама, приветствовала соседа, быстро оглядывалась кругом, припоминая предметы, знакомые ее детству, улыбалась радостно, а между тем слезинка дрожала на русой реснице... Дворня также со слезами бросилась в ноги барышне, и нянюшки чуть не унесли ее на руках.

– Что ж ты, привез ли мне для сюрприза на новоселье кобеля-то? – заревел Гонобобель, когда все вошли в покои, напоминая Игривому обещание его.

– Нет, не привез, – отвечал тот. – Я не надеялся застать вас сегодня здесь...

– Так черт ли в тебе, коли ты один приехал! Ха-ха-ха, слышите, что я говорю? Я говорю: черт ли в тебе, коли ты ко мне приехал один... ха-ха-ха...

Между тем как кошки взметывались от радости в комнатах под самый потолок, а оттуда валились клубом под ноги, мяукали и ластились, а девки и вся дворня зашевелились, как пчелиный рой, Анна Алексеевна старалась ласками своими загладить по возможности довольно странное приветствие своего супруга. Игривый, конечно вовсе в этом не нуждаясь, с умилением смотрел на стоявшую перед ним молодую девушку, которая рассказывала ему необычайные для нее дорожные приключения. Несмотря на завидное положение свое, он, однако ж, вскоре опомнился, простился, обещав опять навестить соседей, и оборотился к передней, но здесь новое неожиданное препятствие остановило его: дорожные чемоданы, сундуки, ларцы, коробки, кузовки, мешки и узлы разного рода и вида не только покрыли собою весь пол и не давали ни конному, ни пешему прохода, но поклажа эта взгромождена была у самых дверей горой, выше роста человеческого. Один подавал, другой принимал, ставил все тут же и убегал в другую сторону, и, таким образом, дверь была загорожена. Только после долгого шума, крика и многих острот со стороны хозяина наконец дорога была кой-как очищена и сосед окончательно раскланялся.

– Мы к вам в воскресенье к обедне, – кричала ему вслед в окно Анна Алексеевна, и он, раскланиваясь, просил пожаловать и зайти к нему закусить.

Утром крестьяне и крестьянки пришли к барышне своей на поклон с ягодами, яблоками, яйцами, цыплятами и полотенцами. Все это было ей очень ново и странно – она беспрестанно оглядывалась на мать, ожидая от нее наставления, как и что делать; вмешавшись же наконец в толпу, она перецеловала всех девушек и тем доставила старикам крестьянам большое утешение.

Что же Любаша нашла в отчем доме и чем отозвалось в ней все то, что она там на первый случай встретила? На первый случай – она была довольна и счастлива: она вышла из-под тягостной опеки на волю; она была уже вовсе не тою девочкой, которую мадам журит весь день, при каждой встрече, наказывая держаться прямее, ходить плавнее, приседать милее; она сама сделалась внезапно какою-то повелительницей, и все в доме смотрели барышне в глаза, чтобы только на нее чем-нибудь угодить. О хозяйстве, о должном порядке в доме у нее, разумеется, не было никакого понятия, и ей казалось, что до всего этого ей нет и не будет никакой нужды; она рождена на свете и воспитана в образцовом костромском пансионе; для чего? Да, для чего? Это вопрос слишком неожиданный и странный; о подобном вопросе она еще и не слыхивала, а полагает, если только должна быть особая цель и назначение ее бытию, – полагает, что она родилась на свет для радости, для веселья, для того чтоб порхать, и тешиться, и забавляться в течение белого дня, а по ночам дремать под сладкие грезы... О неуклюжих странностях отца она судить не смела и потому его не осуждала, хотя часто краснела от него; она чувствовала, что ей как-то неловко, но скоро опять забывала это и наконец решила, что, видно-де, этому так и должно быть...

В воскресенье Игривый хлопотал уже с утра о достойном приеме дорогих гостей. Они точно приехали к обедне, а из церкви вместе с хозяином пошли его навестить. Тут закусили, осмотрели хозяйство и сад, а когда наконец вошли в покои и стали собираться в обратный путь, то не могли доискаться Любаша, которая одна-одинехонька бегала по саду. Скрепя сердце Игривый сидел в это время чинно со стариками: но чувства и думка его, конечно, бродили в ином месте.

– Где она? – кричал Гонобобель. – Пропала, что ли? Так недаром же она у меня меченая – ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? – и взял вбежавшую Любашу за ушко, чтоб освидетельствовать знаменитую метку. – Так, она и есть, не подменили; да где же ты это пропадаешь? Уж не хочешь ли здесь остаться – а? Слышите, что я говорю – ха-ха-ха...

Анна Алексеевна с трудом замяла этот довольно странный вопрос, который, впрочем, нисколько не смещал Любаши, потому что она вовсе не поняла его значения.

– Вы скоро к нам будете? – спросила она Павла Алексеевича, который провожал дорогих гостей на крыльцо.

– Скоро, когда угодно, когда позволите, – отвечал он.

– Приезжайте, – продолжала она, – вот хоть завтра... Я начинаю скучать без моих добрых подруг. А вас я видела там с ними, и мне с вами веселее. Я давно вам хотела сказать, что вы ходите на Машу Суслонцеву: это мы все решили и прозвали ее за это вашим именем.

Отец подошел в это время с новыми замысловатыми остротами своими, ухватил Игривого за пуговицу и, повертывая его справа налево и слева направо, врал и хохотал ему на ухо. Линейку подали, Гонобобели уехали. Игривый долго глядел им вслед, задумчиво поплелся в сад, отыскивая на песке по дорожкам следов пары маленьких ножек, – а вся дворня, вся деревня, наконец и все соседи и весь околоток начали понимать, намекать и пророчить, что из этого-де что-нибудь да выйдет.

Так мирны, тихи и складны были дела и сношения между Алексеевкой и Подстойным и оставались в этом виде целый год. Соседи так свыклись между собою, что им было скучно друг без друга, если они два дня сряду не видались: а Игривый и Любаша в самом деле казались связанными уже гораздо более, чем одними узами светской приязни. Никогда, правда, между ними речи не было о разъяснении этого чувства и взаимных их отношений; но всякий посторонний зритель не мог ни на минуту оставаться насчет этого в сомнении. Они бессознательно наслаждались мирным и тихим блаженством своим, не нуждались доселе ни в каких более объяснениях и не думали еще о перемене своего положения – так оно казалось им хорошо.

Между тем как у них у обоих не было заветных тайн друг от друга, то и бывала почасту речь о том, что Игривый намерен вскоре отправиться на год в университет для окончания курса. Он говорил об этом охотно, как будто к слову и случайно, замечая, как и чем это отзовется в Любаше, и услаждаясь тем, что она, смотря по расположению своему, то хмурила брови, подтягивала губку и немножко дулась, то озадачивала друга нежным и убедительным взглядом, то прямо старалась отклонить его от этого намерения словесными убеждениями и доводами, которые всегда подавали повод к нежным беседам, хотя в них, собственно, о нежности и о любви не упоминалось. Вследствие ли этих объяснений и детских упреков или по другим причинам, но Игривый собирался уже и не поехал в первое полугодие или семестр после приезда Любаши, не поехал и во второе, после нового года, а теперь собирался, как будто не шутя, на третье, расписывая в воображении своем сладкую горечь разлуки, блаженство свидания и наконец внезапную счастливую развязку, которая должна повершить дело. Ему казалось, когда он размышлял об этой блаженной будущности, что тут препятствий никаких быть не может; в Любаше он был уверен, а со стороны родителей ее ие.только нельзя было ожидать каких-либо затруднений, но, напротив, они, по-видимому, весьма желали этого союза, приличного и выгодного во всех отношениях. Отдать дочь за порядочного и не бедного соседа – какой же отец и мать от этого откажутся?... Впрочем, мы здесь взялись пояснить, может быть, более, чем и самому Игривому было ясно; все размышления эти происходили в нем почти бессознательно, и когда он ловил себя на них врасплох, то сам первый восклицал: «Какой вздор – ну, с чего ты это взял?»

Однажды вечером Игривый расхаживал рядом подле Любаши взад и вперед по дорожке в саду, перед чайным столом, за которым сидели родители ее и еще два-три соседа. Он опять завел вполголоса речь о скором отъезде своем в конце каникул и собирался с духом для дальнейших необходимых объяснений. Любаша привыкла уже слышать в общих словах об этом любимом предположении своего друга: но будущее казалось ей всегда так далеко, что положительное назначение столь короткого срока как-то неприятно поразило ее. Она задумалась: ей представилось живо это одинокое, томительное смутное время, когда она будет одна на свете, когда у нее даже не

будет под рукой Павла Алексеевича, и она не могла понять: почему же она прежде жила спокойно без него, а теперь этого не может? У нее не доставало духа на какое-либо объяснение; она потупила глаза, повесила голову, стала задумчиво играть веточкой, которую держала в руках, и сама не замечала ни странности своего молчания, ни томительного ожидания своего друга.

– Будете ли вы меня помнить? – сказал он наконец. – Узнаете ли вы меня, когда я ворочусь опять к вам?

Она быстро взглянула на него, и какой-то скорый ответ едва было не вырвался из уст ее, но она опомнилась и выговорила только едва внятно:

– Я? – Потом смолкла и опять опустила голову. Игривый был поставлен еще в большее затруднение

и ломал себе голову, как понять это «я» и каким образом теперь продолжать. Если сказать на это: «Да, вы», то это также ничего не выражало и казалось пошлым, растягивая без нужды объяснение, которое по важности своей должно бы быть как можно более сжатым; времени было немного... Если повторить вопрос, сказав: «Да, будете ли вы меня помнить?» – то это качалось слишком настойчиво; и без того уже для этой торжественной минуты было сказано довольно много... Игривый только что нашел было середину, вздохнул и хотел сказать: «Вы не отвечаете?...» – как поравнялся с чайным столиком и у него в ушах раздалось:

– Слышите, что я говорю, Павел Алексеевич? Ха-ха-ха, я говорю: а по чьей же дудке и плясать жене, как не по мужниной – ха-ха-ха!

Эта необычайная острота Гонобобеля заставила Игривого из приличия остановиться и даже кивнуть головой и улыбнуться; затем он был вовлечен в общий разговор, а подруга его услана матерью с хозяйственным поручением. Она воротилась с каким-то постным лицом: щеки ее горели, губки, и без того резко обозначенные, были как-то сжаты, а глаза, по-видимому, избегали встречи со взором опасного соседа. Игривому казалось, что этот вечер должен решить судьбу его, что более приличного случая для окончательной развязки нельзя ожидать. Он внимательно подстерегал все движения Любаши и выбирал только время, чтоб сказать ей несколько слов, как послышавшийся вдали колокольчик привлек к себе всеобщее внимание.

– Не уезжайте, – сказала Любаша почти шепотом, подняв глаза прямо на своего друга, и в то же время, как будто боясь продолжения этого разговора, подошла ближе к матери и стала обращать внимание ее на колокольчик.

О, этот колокольчик и через двадцать лет еще часто раздавался в ушах Игривого, когда он в одиночества своем сидел повеся голову и глядел умственными очами картины волшебного фонаря воспоминаний своих. Этот колокольчик напоминал ему задушевное выражение голоса и взора Любаша, когда она просила: «Не уезжайте!» Этот же колокольчик внезапно прервал беседу, которая, вероятно, решила бы судьбу Игривого иначе, чем она решилась теперь, – все через тот же роковой колокольчик!

– Верно, исправник, – говорил, прислушиваясь, один.

– Нет, зачем ему теперь быть, – заметил другой.

– Наше место свято! – кричал третий и хохотал при этом на весь мир. – Слышите, что я говорю? Я говорю: наше место свято – ха-ха-ха!

Между тем колокольчик все ближе да ближе; щегольская коляска остановилась у подъезда на дворе – и мать, отец и дочь бросились с криками радости навстречу одному из двух уланов, выскочивших из коляски: это был вновь произведенный корнет Карп Иванович Гонобобель, сын Ивана Павловича и Анны Алексеевны и брат Любаша.

– Ротмистр Шилохвостое Семен Терентьич, – сказал молодой корнет, представляя родителям своего гостя и попутчика, когда первые порывы восторга свидания успокоились. – Позвольте представить вам моего искреннего друга, самого благородного и отличного офицера.

– Ты меня заставляешь краснеть, – сказал скромно Шилохвостов, взглянув на друга своего, потупив глаза и подходя к ручке матери и сестры его.

– Очень рады, милости просим, очень благодарны за доброе расположение ваше к Карпуше, просим покорно... – сказала Анна Алексеевна.

Гонобобель облобызал гостя и, забывшись, чуть не ухватил его при этом также за уши – до того ему шутка эта полюбилась, и сказал:

– Вот мы всё думали, что Карпуша дурак, – прошу покорно, очень рад, – а он вот какого дорогого гостя привел – ха-ха-ха, очень рады!

Ай да Карпуша!

Ободренный этим, Карпуша обратился к своему приятелю и сказал:

– Вот, братец, видишь, тебе все рады. Сделай милость, будь как дома.

Гостям отвели комнату, поставили снова самовар, посылали спрашивать, не хотят ли пообедать или так чего-нибудь поесть: ягод со сливками, огурцов с медом, простокваши, варенца, творогу; подали сметаны со ржаным хлебом – некогда любимое кушанье Карпуши, и не знали, чем бы угостить Шилохвостова, который не брал в рот молочного и даже чай пил по-китайски, без сливок.

– Экие недогадливые! – закричал наконец догадливый хозяин. – Вздумали уланов угощать сливочками да сметанкой? Ха-ха-ха! А вы горькой подайте – это всегда кстати – да рюмку к чаю, с позолотцей выпьем – а? Слышите, что я говорю? Я говорю: с позолотцей – ха-ха-ха!

Подали того и другого, и Карпуша, к крайнему удивлению маменьки, тотчас же покинул и сметану и чай со сливками и подсел, нисколько не обинуюсь, к горькой и к рому. Ротмистр скромничал и заставлял себя просить, уверял даже, что он почти вовсе не пьет, но товарищ его, на которого отец не мог налюбоваться, распорядился полковым порядком: он вылил в плотку большую рюмку, не прикасаясь к ней руками, а охватив ее всю, прямо со стола, губами и опрокинув голову назад. Эта штука привела папеньку в восторг; маменька же, напротив, как будто силилась улыбнуться, чтоб не нарушить общей веселости; но заботливые морщинки скоплялись на челе ее, и она никак не могла принудить себя разделить одобрительный возглас своего сожителя; а между тем Карпуша от перетроёной настойки этой даже не поморщился и не крякнул.

Любаша не могла отвести глаз от милого братца, с которым уже два года не видалась, и уланский мундир прельщал ее донельзя. По временам встречала она также взором благообразного ротмистра с большими русыми бакенбардами, с прекрасными усами, шелковистыми кудрями и серыми, но выразительными и нежными глазами. Наружность ротмистра была в самом деле приятна, все приемы его ловки, обращение скромно и обязательно.

Игривый бывал сыздетства товарищем Карпуши, а потому и поздоровался с ним по-братски, и они при этой встрече остались опять по-прежнему на *ты* и *ты*. Перемены, которые Павел Алексеевич в это короткое время мог заметить в Карпуше, не слишком утешали Игривого; новый гость, которого тот привез, как-то еще менее был по вкусу соседа; не менее того, когда по распоряжению хозяина подали на радости так называемого шампанского, то Все трое молодых людей, ротмистр, корнет и отставной студент, по настоянию расхोдившегося майора пили вкруговую за здоровье друг друга, обнялись на побратимство и скрепили дружбу свою братским *ты*. Впрочем, мы уже видели, что молодой корнет и прежде этого был с ротмистром своим на такой короткой ноге.

Игривый не навещал соседей после этого дня три, желая дать им покой, и был приглашен в Подстойное к обеду, который давался в честь нового корнета. Если Павла Алексеевича и без того уже взяло какое-то раздумье после описанного нами вечера, то теперь он подавно был сбит с толку. Любаша как-то робела и мешалась при нем, даже будто избегала разговора и все держалась около брата, от которого не отходил ни на шаг благообразный ротмистр. Три побратима прохаживались после обеда по саду, где все общество рассеялось, и Карпуша после нескольких двусмысленных намеков сказал:

– Какой чудак этот ротмистр! Послушай, Павел: я его привез потому, что прочу в женихи сестре – он, ей-богу, славный, преотличный человек и благородный малый, – а он ломается теперь да несет бог весть что.

Павла Алексеевича, конечно, не бархатом по сердцу погладило от этих слов; но он собрался с духом, осилил всякое движение, казался спокойным и взглянул только слегка вопросительно на того и на другого.

– Ты, братец, по дружбе своей слишком хорошо обо мне относишься, – сказал довольно равнодушно Шилохвостов, глядя в землю, – ведь я... Да, впрочем, всякому позволено сомневаться, составит ли он счастье девушки, и даже подумать о том, не навьют ли ему, может быть, арбуз ^[3]... Да и согласится ли сама сестра твоя... Почему она меня знает? Она может думать, что я какой-нибудь подлец...

Карп Иванович, которому еще не было двадцати лет и который тридцатитрехлетнего ротмистра своего называл «малым», прибавляя к этому беспрестанно то «добрый», то «славный», то «благородный», – Карп Иванович не дал ему договорить, ручался за успех, ссылаясь при этом беспрестанно на *Павлушу*, то есть на Игривого, и предлагал посватать сестру сегодня же, сейчас же и запить невесту в этот же вечер. Разговор о питье был любимым у Карпуши, и он редко без него оканчивал беседу.

Игривый был поставлен в самое странное положение. Он мог только отмалчиваться. К счастью, собеседники его были оба слишком заняты своим разговором, и Карпуша, ссылаясь то и дело на Павлушу, не ожидал, однако же, ответа его и врал сам по себе дальше.

Вечером плясали шумно и весело; ротмистр был отчаянный мазурист того времени, когда бросались в мазурке на колени перед дамой своей, топали, шаркали, щелкали каблуками и побрякивали шпорами. Победа в танцах на этот раз бесспорно осталась за уланами; Любаша еще в жизнь свою не танцевала так много и притом в большом обществе, а на долю ее достался первый и превосходный кавалер, ротмистр Шилохвостов. Она была вне себя от удовольствия, и все, все девицы, от первой до последней, завидовали ей как нельзя больше. Ей то и дело шептали в уши: «Ах, машер, как ты счастлива! Ах, какой он милый! Ах, машер, поздравляю с победой...» Разумеется, что это чрезвычайно льстило самолюбию бедненькой девушки, хотя она в этом и не сознавалась и даже, может быть, сама этого не знала. Игривый глядел на все это в каком-то раздумье и также сам не знал, как понять то, что он видел, и чем все это кончится.

Когда к ночи после бала ротмистр с корнетом остались глаз на глаз и притом немножко с позолотой, то речь между ними сейчас опять зашла о Любаше.

– Что же? – сказал братец ее, скинув мундир, присев на кровать свою и подпершись в обе руки. – Что же? Видно, брат Сеня, Любаша тебе не нравится, а я думал уж, как тебе услужить!

Сеня прохаживался большими шагами по комнате, набивая из кисета трубку.

– Послушай, – сказал он, остановясь перед Карпушей, – ведь сестра твоя не шутя девушка предостойная, премилашка... Ну, воля твоя, братец, мне совестно; ну за что же я заем у нее веку? За что я ее

утоплю за себя? Другое дело какая-нибудь там Перепечихина или Перепутилова, да коли этак поддеть можно ее душ на сотенку, ну что ж? Это не грех; а ты подумай, братец: мы с тобой друзья закадычные, да ведь и она тебе родная сестра!

– Да о чем же ты хлопчешь, Сеня? Я тебя, воля твоя, не понимаю! Ну так чем же она тебе не дружка? Ну, говори! Сам говоришь: и хороша, и мила, и достойна, и душ хоть сотня не сотня, а под семьдесят на ее долю наберется; а мне ведь все равно, не миновать же раздела; так уж лучше ж пусть тебе достается. Ведь я же говорю это, любя тебя; а ты какую-то дичь несешь. Что ж ты, боишься, что ли, ее? Ведь она агнец; а уж как бы мы зажили с тобой – ух! Только пыль столбом! Я, брат, еще не скоро женюсь, мне еще рано, я бы подле вас так пошел пробавляться, а ты, душа моя... Да ведь мне бы хотелось тебе услужить, а лучшего мужа я сестре своей не найду, хоть свет пройду, ей-богу.

– Братец ты мой, душка ты моя! Все это правда; да ведь я-то подлец... Ну, скажи, ради бога, правду, ну, ведь просто подлец?

– Никогда! – возразил с жаром братец, вскочив с кровати и замахав руками. – Никогда, ни за что! Бог с тобой! Откуда ты это взял? [4]

– Ну да как же, милый ты мой, – продолжал тот, покачав головой и опустив руки. – Ведь из трех полков меня выгнали и тут служить со мной не хотят; ну и пьяница я, и буян я, – ну, ведь буян? – и картежник я, и по роже бит, а тут вот еще связался с тобой... Ну, рассуди же сам, ну, не подлец ли я? Ну, кто же я таков?

– Премилый и разлихой малый, – возразил опять братец. – Ну, дай же себя обнять, да хорошенько, вот так... Да не отворачивай рыла-то, дай сюда его – чмок, – премилый, преблагородный, пребесподобный и редкостный малый! Душа моя, ну, зять ты мне? Зять? Говори! Сестричку мою берешь за себя? А? Породнимся, что ли?

– А что же ты думаешь, в самом деле? – сказал Шилохвостов, надумавшись и разнежась в объятиях друга. – Может быть, я и не хуже другого: ведь мало ли подлецов на свете, да еще каких – ух! Ведь и я тоже человек, и доброго сердца человек, женишься, переменишься; ну, исправлюсь и я...

– Исправишься, милашка мой, душечка мой; ей-богу, исправишься. А на свете, разумеется, мало ли подлецов, об этом что и

говорить! Ну, по рукам же!

– По рукам! – сказал расхрабренный ротмистр, ударив с размаха корнета по плечу так, что тот покачнулся. Друзья обнялись и облобызались, еще раз ударили по рукам и снова принялись обниматься; шальной и полупьяный Карпуша хотел сейчас же бежать сватать сестру; ротмистр удерживал его и принужден был наконец отнять у него почти насильно сюртук, обнимая и упрасывая успокоиться до завтра. Они строили планы до бела света о том, как они будут вместе жить; Карпуша разжился на этот чрезвычайный случай еще бутылкой рома, сахаром и самоваром, а Сенюшка клялся ему с восторгом, что милее Любаши он в жизнь свою не видел девушки и что при первом взгляде на нее влюбился насмерть.

На другое утро Карпуша пошел сватать сестру свою. Правда, что, проспавшись, Шилохвостое струсил и начал было опять впасть в свое отчаянное уничижение; но вскоре собрался с духом, находя, что он действительно влюблен в несравненную Любашу, что, впрочем, вся вина должна пасть на брата ее, что теперь, когда его самого опять уже выжимали из полка, ему всего выгоднее было выйти в чистую отставку, жениться на помещице и зажить спокойно домком и двором. К этому рассуждению присоединилась и несомненная уверенность в самом себе, что он непременно исправится и делается хоть и не самым отличным, но все-таки, в сравнении с теперешним бытом своим, очень порядочным человеком.

Любаша испугалась было сначала предложения брата своего, который вбежал к ней без толку, выплясывая мазурку и побрякивая шпорами, потом стал божиться, что ротмистр влюблен в нее насмерть, и вследствие того предлагал ей за него выйти; но положение ее казалось ей столь новым и так сильно ей льстило, что сватовство это стало ее тешить; она начала забавляться им и впадала вскоре с братом в ребяческие шутки, и сама возвратилась на время к годам своего детства в пансионе, где шпоры и эполеты раз навсегда брали верх над фраком и где гусар или улан мгновенно привлекал к окну всю белолицую и остроглазенькую толпу, тогда как платье гражданского покроя никогда не удостаивалось и взгляда. Блестки, рассыпанные по вихрю, мелькнули в глазах девушки и ослепили ее; другому чувству не было простора. Карпуша, впрочем, не выждал положительного ответа сестры, которая еще не успела опомниться, а,

наговорив ей с три короба и насулив небывалого счастья, расцеловал ее и побежал к отцу. С матерью он не хотел об этом толковать из опасения, чтоб дело не затянулось.

Ивану Павловичу Карпуша также с первого раза закидал глаза неожиданным счастьем, которое ожидает сестру. Он лгал и хвастал, по милой привычке своей, без всякого дурного намерения; кажется, что его при этом соблазняла более всего честь называть ротмистра зятем и что он был подкуплен снисходительностью своего эскадронного командира, с которым он был, как мы видели, на самой дружеской, братской ноге. Он уверил отца, что Шилохвостое первого дворянского рода в России; что он богат, много наживает от эскадрона и ремонта и еще более вскоре получит от дяди, который уже на ладан дышит; что эскадронный командир его самый лихой, самый добрый и благородный малый и притом лучший служака, из-за которого поссорились все полковые командиры целой дивизии. Карпуша очень хорошо знал, что у ротмистра ремонта нет, а вскоре не будет и эскадрона, что наследства он может ожидать разве только от своего денщика; но что нужды? Карпуша плел и путал все так, как ему теперь казалось выгодным, и не хотел выдать своего лихого товарища, а потому дозволил себе для друга отступить несколько от истины.

– Вот оно какво! – сказал Гонобобель, приподняв брови и заложив обе руки в карманы. – Вот оно какво! Ха-ха-ха! А я было, признаться, прочил Любашу за соседа; ха-ха-ха! Я говорю: вот оно какво!

– Как же можно, папенька! – поспешил заметить сынок. – Ведь Павлуша... ведь он, то есть, добрый человек, добряк и друг мне – да ведь он тюфяк; ну, как же его сравнить с моим ротмистром, то есть с Сеней? Ведь это, не в укор ему говоря, все равно что... – И остановился, не зная, что дальше сказать и какое бы прибрать сравнение.

– Ну да, разумеется, ха-ха-ха! Я ведь и говорю, что в поле и жук мясо, а на безлюдье и Фома дворянин... ха-ха-ха! Карпуша, слышишь, что я говорю? а?

Анна Алексеевна, узнав наконец, в свою очередь, об этом сватовстве, покачала головой и вздохнула раз-другой; она собиралась поговорить об этом толком с Иваном Павловичем, но все не могла выбрать времени. Ротмистр, конечно, льстил и ее самолюбию, но все

не выходила у нее из памяти «позолота» и бутылка рома, взятая Карпушей к ночи. Павла Алексеевича ей было жаль, очень жаль; к тому же и земля его подходила вплоть к их меже, и был он человек предобрейший, и устроил все хозяйство после отца как нельзя лучше. Анна Алексеевна стала было что-то говорить сыну, но хват убежал, не дослушав ее; она встревожилась и хотела поговорить с мужем, но и тому было не до нее. «Ну, бог с ним! – подумала она. – Конечно, отец волен в дочери, и, наконец, бог весть, может быть, Павел Алексеевич и не думает сватать Любашу!» И, подумав так, она, по-видимому, успокоилась, пошла и села в свою комнатку, а между тем колени у ней дрожали бог весть от чего.

– Веди же его сюда, своего ротмистра, веди сюда с повинною! – кричал Гонобобель сыну, удерживая его сам за пуговицу, между тем как тот от нетерпения порывался скорее вон и придерживал пуговицу рукой, чтоб папенька не оторвал ее. – Веди, да пусть он нам сам порасскажет, чего ему угодно.

Ротмистр вошел скромно, с поклоном, в небольшом замешательстве; он уже не первый раз на веку своем бывал, или по крайней мере слыл, женихом; но тут было не до штук и не до шуток: должно было представить истинного, настоящего жениха.

Гонобобель поднял с криком руки – это был особый род приветствия – и стал спрашивать со странными ужимками: «А что вам, сударь, угодно? Ха-ха-ха! А зачем вы, сударь, пожаловали? А в чем, я говорю, состоит ваше сердечное желание?» – И, не дослушав хорошо сложенной речи Шилохвостова, послал брата за сестрой, принял ее не менее странно и спрашивал настойчиво: «Хочешь ли ты за ротмистра, за улана, за ремонтера, за эскадронного командира, за молодца? Хочешь ли, говори, я говорю!» И когда Любаша, истинно не зная, что и где она, прошептала в слезах: «Как вам угодно», то майор сложил руки их без дальних околичностей, приговаривая в это время вместо благословения похвалу своей послушной дочери, и, рассыпаясь в шутках, советовал жениху держать жену свою так же строго, как ее держал дома отец, чтоб она слушала его беспрекословно. Старик, к общему удивлению, сам прослезился при этом, но хохотал и болтал вздор; даже у Шилохвостова как будто глаза сделались влажны. Любаша была очень бледна, едва стояла на ногах, внезапно зарделась от неожиданного поцелуя жениха своего,

опустила руки и глаза, дышала тяжело и несколько времени была неподвижна как статуя.

Когда все это было кончено, Иван Павлович вспомнил, что у него есть еще в доме жена и хозяйка, а у Любаши мать. Он почувствовал все неприличие своего поступка и побежал за Анной Алексеевной сам, привел ее и, по-видимому, старался шумом, криком и неуместным хохотом скрыть несколько свое замешательство и странность последовавшего за тем явления, в котором матери не оставалось ничего, как, собравшись с духом, благословить и обнять детей своих.

В это самое время в комнату, где все это происходило, в большую залу вошел Павел Алексеевич. Ничего не зная, он, однако ж, провел крайне беспокойную ночь, не знал, куда деваться с головой своей или сердцем, и наконец решился, ие теряя времени, идти к соседу для объяснения. Обращение Любаши с ротмистром, конечно, наводило на Игривого какое-то недоумение; но, припоминая последние слова ее: «Не уезжайте», и голос, выражение, с которым она их сказала, взор ее или глаза, которыми она при этом на него взглянула, он ободрялся, чувствовал в себе некоторую самоуверенность и, во всяком случае, захотел знать, чего ему ожидать и чего бояться.

– А-а! – закричал Гонобобель встречу соседу, который остановился в каком-то недоумении почти на самом пороге, видя все семейство в сборе и притом в каком-то строгом чине непосредственно после благословения матери. – А! Вот и он, вот легок на помине! Ха:ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: вот на помине легок! С праздником, сосед; девки-то уж нет: выдали, брат, выдали вот за проезжего молодца! Ха-ха-ха! А я было прочил ее за тебя, ей-богу, за тебя; а ты, видно, себе на уме! Ха-ха-ха! Ну, милости просим!

Окинув взором всех членов семейства, Игривый, к ужасу своему, в то же мгновение убедился, что глупая шутка Гонобобеля была, однако ж, не шуткой, а плачевной истиной. Негодование, которое им овладело, выручило его из самого тягостного положения: он очень спокойно и чинно раскланялся на все четыре стороны, поздравляя и желая много счастья, обнялся даже с отцом, женихом и с братом, поклонился Любаши и объявил в то же время, что он, с своей стороны, не зная и не подозревая этого семейного праздника, пришел только проститься, отправляясь завтра же в Москву. Извинившись

поспешностью своего отъезда, он, даже не присев, раскланялся и опять уехал.

Любаша все еще стояла в том же положении, бледная, неподвижная, как неживая; но в то самое время, когда коляска Павла Алексеевича, застучав, покатила со двора, невеста пришла в себя, стала всхлипывать, и ей сделалось дурно. Мать приняла ее на руки, отец кричал: «Что с тобой? Ха-ха-ха!» Брат подал ей руку, а жених стоял поодаль в каком-то замешательстве.

Полтора года спустя после этого происшествия Игривый опять подъезжал к своей Алексеевке, и на этот раз, несмотря на то, что сердце и думка его, без всякого сомнения, были полны мыслей и чувств о жителях Подстойного, он, однако ж, был очень доволен, что путь из Москвы шел не на Кострому и не пролегал мимо усадьбы майора Гонобобеля. Старика Ивана Павловича, впрочем, в это время уже не было на свете: он скончался довольно скоропостижно вскоре по отъезде Игривого, отпраздновав благополучно свадьбу дочери.

Странная смесь воспоминаний, чувств и мыслей волновала и в то же время успокаивала Игривого, то тешила его, то досаждала ему. Со дня отъезда из Алексеевки он получал известия с родины только через своего старосту, который уведомил его о свадьбе в Подстойном, а также о смерти майора и других происшествиях, но, впрочем, не пускался ни в какие подробности, устраняемые вообще обычным складом и слогом этого рода писем. Игривому все казалось, будто судьба его еще не решена, будто ему предстоит еще что-то впереди; а между тем, когда он, опомнившись, соображал спокойно все случившееся, то ясно видел и понимал, что ему-то, собственно, ожидать здесь более нечего и что он, как ребенок, играл какими-то темными, несбыточными грезами.

На другой день по приезде, осмотрев хозяйство и натолковавшись об нем досыта, Игривый стал расспрашивать своего старосту о том, что делается в Подстойном.

– Да что, сударь, плохо там! Молодой барин приехал, стал делиться с сестрой да выделять мать, и перессорились все; там Семен Тереньтьевич взяли с хозяйки своей доверенность, чтоб Любове Ивановне не знать ничего, не вступаться ни во что; а старую барыню уговорили отступить от своей доли да жить на хлебах у сына да у зятя, – ну, и поделились. Тут, видно, Семен Тереньтьич себя не

обидели; Карп Иванович по молодости верили им во псом, так они и отвели себе, то есть па спюю долю, почитай все луга по Мухоловке. Так и Карп Иванович сам остался без сена, да и мужики его без лугов. Вот как спохватились да думали было как-нибудь поправить дело, ан Семен Терентьич луга те уже все отрезал по самую околицу да продал соседу, Ивану Онуфриевичу. Ну, как продал да деньги взял, так уж ему и не живетя дома; сел да поехал. Пропадал он бог весть где месяца три, что молодая хозяйюшка, сказывают, глаза по нем выплакала, и воротился такой, что не на что глядеть. Поехал в коляске, с деньгами, а воротился оборванный, чуть не в одноколке – в какой-то жидовской бричонке. Тут они с Карпом Ивановичем загуляли: что божий день, то у них во дворе хороводы, да песни, да пляски, – одни мужики да старухи только и ходят на работу; ну, а баба либо девка – известное дело, волос долог да ум короток – этому делу и рада. Такие же, как их милость, съезжаются к ним со всех сторон и бог весть откуда берутся: прежде что-то таких, благодаря богу, здесь и не слыхать было; а в городе, сказывают, в гостинице прибили за своей подписью объявление, что-де такой-то Семен Терентьевич да Карп Иванович всех проезжающих созывают к себе на усадьбу в гости попить да погулять. Так вот и живут себе беспросыпно, не памятуочи ни себя, ни других.

– А молодая барыня что ж? – спросил Игривый.

– Да что ж, сударь! Известно, женское дело – капля камень долбит, а чужая слеза, что с гуся вода. Родила с месяц тому сыночка, окрестили по дедушке Иваном.

Подумав немного, Игривый в тот же вечер отправился в Подстойное. Он нашел все точно в том виде, как староста описал. Крик и шум слышались издалека, попойка шла горой. Несмотря на крайнее негодование свое, Игривый вошел прямо в это буйное сборище: человека четыре сидели за столом, уставленным бутылками и стаканами; Карпуша, полураздетый, стоял и кричал, будто на собаку: «Тибо! Аванс! Пиль!» – а какой-то оборванец, исправлявший должность дурака, полз через всю комнату на карачках к рюмке вина, накрытой ломтиком хлеба с сыром, и по слову: «Пиль» – выпил ее залпом и закусил, Карпуша как был, так и остался – все тот же отъявленный сорванец: он с бесстыдством врал и без зазрения совести говорил в похвальбу себе правду, не подозревая даже по глупости

своей, что он сам себя выставляет мерзавцем. Казалось, впрочем, будто все в Подстойном обрадовались Павлу Алексеевичу, кто больше, кто меньше, каждый по-своему. Шилохвостов обнял его в восторге, как старого товарища, но немножко совестился его и будто первое время был в недоумении, какой тон на этот раз принять; вскоре он расхохотался, однако ж, и начал было покрикивать: «Шампанского!» Игривый остановил его очень спокойно, сказав: «Оставь, это некстати», – и ротмистр не смел противоречить. Несмотря на хмель, Шилохвостову было как-то неловко; он нашелся, предложив Игривому отвести его к своей жене. Тут Семен Терентьевич снова оправился, повеселел, и когда Любаша вскрикнула от радости и изумления, то он закричал: «Да ну же, обнимитесь да поцелуйтесь», – и толкнул Игривого прямо на Любашу. В первый и почти последний раз Павел Алексеевич обнял и поцеловал бывшую свою подругу – и сам не мог после отдать себе отчета, как это случилось и кто из них первый подал к тому повод. Шилохвостов убедительно просил соседа остаться и занять Любашу, а сам, по какому-то чувству сострадания или, может быть, чтоб обеспечить себе более свободы на будущее время, оставил их одних. «Сделай милость, братец, докажи дружбу свою, навешай нас почаще: я то и дело отлучаюсь по хозяйству и по другим делам, и бедная жена скучает – так развесели хоть ты ее немного».

Любаша в эти полтора или два года возмужала. Теперь можно было сказать об ней, что она совсем сложилась, и телом и духом. Она села против друга своего, смотрела на него непросыхающими голубыми глазами, жадно слушала его, расспрашивала и не утомилась бы этой беседой, если б она продлилась сутки сряду. О себе она молчала или говорила в общих словах; ни одним словом не обвиняла она мужа, легко и с редким природным чувством скользила по тем щекотливым предметам, которых непрерывно и невольно надобно было касаться, беседуя о своем положении и домашнем быте. Наконец она показала Игривому своего младенца и повела к старушке Анне Алексеевне, которая жила где-то в глухой каморке. Старушка расплылась в слезах, увидев Игривого, обнимала и целовала его непрерывно, не переставая говорить о том, что вот кто был бы сыном ее, вот кому прочила она любезную дочь свою, вот с кем она была бы счастлива и вот кто бы призрел ее самое под старость. На прощанье

она просила Павла Алексеевича со слезами не забывать их; Любаша взяла руку его в обе руки свои и просила о том же; Игривый поцеловал у нее руку и скорыми шагами удалился. Он уже не был в состоянии более переносить все то, что перед собою видел и вокруг себя слышал. Только вышед несколько на простор, он мог вздохнуть свободно.

Оправившись немного, он хотел прямо ехать домой и потому вышел в сени, оставив пирующих в стороне, и велел человеку подать коляску. «Да никак, сударь, кучер ваш нездоров», – отвечал человек, переминаясь. Игривый понял ответ и вышел сам на двор – но не мог отыскать ни кучера своего, ни коляски. Уже давно смеркалось и было темно; он решился, однако ж, отправиться домой пешком. «Кто идет?» – раздалось в воротах: тут поставлен был караул и ни под каким предлогом не пропускал гостя. Игривый не хотел употребить силу, но истощив все просьбы и угрозы, воротился и вошел в комнату, где шла попойка. Радостный крик приветствия встретил его; но Карпуша, отчаянный буян, когда бывал пьян, нарезался между тем окончательно и объявил ему наотрез, что до рассвета нет выхода отсюда и что он, Карп Иванович, будет стрелять по всякому, кто бы захотел прорваться силою, как по военному дезертиру. Вместо ответа Игривый повернулся и вышел опять на двор; но едва сделал он несколько шагов, как выстрел раздался из окна и вслед за тем страшный крик и вопль. Бегом бросился Игривый назад и встретил все пропойное общество в испуге и заботах около Карпуши, который был весь в крови.

Карп Иванович вследствие угрозы своей действительно схватил заряженный пистолет и выстрелил, как полагал, по упрямому гостю, – но в то же время, в рассеянности, он заткнул дуло пистолета пальцем собственной своей левой руки, которого теперь и не досчитывался.

Семен Терентьевич ревел и рычал, метался как безумный и кричал в один дух сто раз, что Карпуша застрелился. Когда же дело наконец объяснилось, хотя стоило и немалого труда вразумить пьяного и заставить его молчать, то он расплылся в стенаниях, слезах и вздохах.

Семен Терентьевич в подобных случаях всегда приходил в себя, каялся и давал преполезные, хотя и запоздалые наставления. «Ах, боже мой, – говорил он, всплескивая руками. – Вот тебе и на, вот тебе и догулялись! Ну, скажи, ради бога, Карпуша, что мы с тобой

наделали? Ну, скажи на милость, не подлецы ли мы? Ну, помилуй, не мерзавцы ли мы, опомнись, что мы это делаем! Видишь ли: вот оно что из этого выходит; пьем без просыпу, таскаемся, не помним ни бога, ни себя, спились с круга, выбились из ума – ну, просто скоты мы, воля твоя, Карпуша, скоты!»

Тревога по целому дому пошла страшная, слух разнесся, что Карп Иванович застрелился. Игривый обмыл и перевязал его, выслал собутыльников его и велел их также уложить, потом успокоил испугавшуюся насмерть Любашу и насилу выбрался к полуночи домой, не могши отвязаться от изъявления признательности и раскаяния Шилохвостова, который поносил сам себя тем выразительнее, чем позже становилось и чем более сон и хмель одолевали его.

Было о чем призадуматься Игривому, когда он дома на покое припоминал все, что видел и слышал в Подстойном. Сердце у него надрывалось, когда он обдумывал неразлучную с этим на всю жизнь судьбу Любаши, а помощи не мог он придумать никакой. «О, если б только бог надоумил меня и вразумил, как облегчить крест этой страдальницы, – подумал он, – клянусь не щадить ни имущества, ни самой жизни своей и сделать все, на что у меня станет средств и сил...»

Между тем мужики пришли всем миром к господам Подстойного с жалобой, что их побили на лугах, проданных Ивану Онуфриевичу, и не дают косить, и спрашивали, что же им делать теперь, куда девать скотинку и чем ее кормить – сена-де нет ни клочка. Мужики ходили часа два по двору, то к старой барыне, то к молодой, то добивались Карпуши, то Семена Терентьевича, не зная, к кому обратиться, и не находя нигде ни ответа, ни привета. Наконец Шилохвостову надо было выйти и потолковать с ними; он стоял перед ними таким дураком, что ему самому стало совестно. Он стал предлагать крестьянам кормить скот сечкой, древесными листьями, уверяя, что это даже почти лучше сена, и, заняв их несколько хозяйственными разговорами и благоразумными советами в этом же роде, распустил по домам.

Мало-помалу для Игривого вошло в привычку и обратилось в потребность заканчивать день свой в Подстойном. Там сидел он с Любашей или прогуливался с нею по саду, почти никогда не

спрашивая, дома ли муж или брат ее, – который впрочем, жил подле, но в особом доме, – и, таким образом, многолетняя страсть эта разгоралась обоюдно без всякой помехи, но и без всякой надежды. Любаша была каждый день до того утешена урочным появлением Игривого, что забывала в это время все свои бедствия и снова оживала; но, конечно, можно было предвидеть, что такое мнимое спокойствие, как неестественное, не могло быть и прочно: совершенно расстроенное состояние и хозяйство, несчастье быть связанною навсегда с таким мужем, нестерпимые огорчения и оскорбления, которые она от него должна была переносить, безнадежность глубоко вкоренившейся любви – все это неминуемо должно было постепенно изнурять жизненные силы несчастной женщины.

Анна Алексеевна не могла даже и временно успокоиться и утешиться: до того житье ее было горько. Забытая, брошенная, она должна была сносить высшую степень небрежения от зятя и родного сына, между тем как дочь могла только тайком с нею плакать, но не могла доставить ей даже самого необходимого для жизни, потому что сама во всем нуждалась. Анна Алексеевна дошла до того, что обносилась кругом и не могла допроситься ни у сына, ни у зятя десяти рублей на будничное и самое необходимое платье; Анна Алексеевна на старости лет должна была не только отказывать себе в чашке чая, но иногда и даже в другом блюде, сверх людских щей или каши. Вот запоздалая, хотя, может быть, и заслуженная кара за губительное воспитание сына – кара ужасная, хотя поздняя и бесполезная, потому что она у нас часто даже не служит примером для других, а почитается просто случайным несчастьем...

Наглядевшись и наслушавшись всего этого вволю, Павел Алексеевич, подумав и переговорив с Любашей, приехал однажды в карете, посадил туда старушку мать ее со всеми пожитками и увез к себе. Он сделал это без всяких предварительных объяснений с сыном или зятем, которые, впрочем, и не заботились об этом происшествии, как о деле, до них не касающемся.

Однажды Игривый вошел по обычаю своему в гостиную Любаши и при первом взгляде заметил, что фортепьяна ее не были на том месте, где они столько лет стояли и где он столько раз сживал подле нее, разбирая понемногу с нею вместе какой-нибудь романс или подбирая аккорды к знакомому голосу. Большого уменья или

дарования к музыке не было ни в ком из них, но за фортепьянами и за песенкой им всегда легко было размыкать горе и забыться на полчаса среди горькой действительности, от которой некуда было уйти. Я думаю вообще, что музыка, доведенная до высшей степени совершенства, не составляет для нас такой потребности и даже редко бывает так благотворна, как музыка домашнего обихода. Утомительные обстоятельства, при которых мы слушаем публично виртуозов, бывают для семейных домоседов большою помехой, и подручные фортепьяна да приятный голосок иногда с избытком вознаграждают отсутствие Листа [5] и Виардо [6]. Игривый спросил Любашу, куда девались фортепьяна ее; она покраснела, взглянула на него, и лицо ее выражало просьбу – не спрашивать об этом. Он стал, однако ж, настаивать, вероятно догадываясь, в чем дело, и услышал, что Семен Терентьевич, собираясь опять куда-то по ярмаркам и не могши нигде добыть на это денег, продал или заложил фортепьяна жены все тому же сострадательному соседу, Ивану Онуфриевичу.

Игривый зашел вечером к хозяину дома, поздоровался с ним, спросил, куда бог опять несет, и сказал очень спокойно:

– На что ты продал вещь, которая жене твоей доставляла столько удовольствия, и еще продал за бесценок, как я слышу? Уж лучше бы ты у меня выпросил займы эти сто рублей, коли они тебе необходимы. Нельзя ли выкупить фортепьяна?

Шилохвостов чрезвычайно обрадовался – во-первых, тому, что отделался так дешево и не был вынужден выслушать при этом случае целого ряда скучных упреков, а во-вторых, тому, что открыл новый и неожиданный источник для небольших займов, тогда как ему давно уже никто решительно не верил на два гроша. Он расчувствовался от признательности, побранил самого себя, повинился, а потом сказал:

– Послушай, братец, я признаться, давно уже пляжу на вас, не надивуюсь. У меня сердце болит, меня жалость берет – а ведь томите и мучите вы сами себя ни за что ни про что. А? Что же ты молчишь? Поговорим хоть раз откровенно, грудь нараспашку. Я вижу и знаю все, что делается, даром что пьян бываю, – все знаю. Ведь вы друг по другу сохнете; вы любили друг друга прежде; любите же с богом и теперь – кто вам мешает?

Игривый молчал, а Шилохвостов очень спокойно продолжал:

– Видишь, брат Павел, ведь я обижать обижаю Любашу и горькую чашу она от меня пьет – ну что же делать? Видно, такова судьба ее, власть господня; а ведь я ее люблю, ей-богу, уважаю и желал бы ей лучшей участи. Ты же мне друг – и за тебя я рад в огонь, ей-ей рад. Из-за чего же вы сами себя казните? Ведь я негодяй, я не стою и мизинца ее! Что же ты молчишь, Павел, и глядишь на меня так? Ты думаешь, я тебя обманываю? Ей-ей нет; вот как перед богом; я ведь вижу и знаю все. Сами вы себя казните ни за что ни про что.

На речь эту Игривый, помолчав, отвечал:

– Я очень рад, любезный, что тебе все известно; ты поступаешь справедливо, что не ревнуешь жены своей: она перед тобой не виновата ни в чем.

– И это глупо.

– У всякого об этом свои понятия.

– Что же ты мне этим глаза колешь? Я сам лучше всякого знаю, что я подлец; что же мне делать?

– Ну, уж с совестью своею мирись как знаешь; в этом я тебе не указчик. Я тебя, впрочем, никогда и ничем не попрекал и теперь не упрекаю.

– Ну, а больше что?

– Ничего.

– Глупо это, братец, ей-богу глупо! Вот видишь: я последний, пропащий человек, вот этого не стою, – и сам щелкнул, – а я такому человеку, как ты, говорю в глаза, что это глупо. К чему такое фанфаронство? Кто тебе за него спасибо скажет?

– Тот, – отвечал Игривый, понизив голос, – кто тебе велит честить самого себя негодяем. Я щажу тебя, Семен Терентьевич, ради жены твоей; иначе я бы сказал тебе больше. Впрочем, не забудь, пожалуйста, что ты говоришь теперь об ней, о своей жене, и что уверял меня сейчас же в уважении к ней.

– Ну так что же ей в нем, в этом уважении?

– Оно дорого даже и от такого человека, каков ты.

– Чудаки вы, да и полно! – сказал Шилохвостов, пожав плечами. – Модники! – А сам встал и начал расхаживать по комнате. – Ну, делайте что хотите, вас не разберешь. Не покидай, однако, Любаша. Я еду, братец, завтра; мне нужно, есть делишки, а тебе грешно будет – ты ее не забывай.

– Прощай, мой друг, – сказал он вечером жене, – я еду с Карпушей. Послушай, будь поласковее к Павлу Алексеевичу; видишь ли, он старушку мать твою взял к себе и призрел – за что? Ведь он нам чужой и только что добрый человек; он вот и фортепяна твои хочет выкупить, а я и муж твой, да скотина, не стою волоса его и не стою тебя. Мне жаль вас обоих, так бог с вами – я вам не помеха...

Любаша побагровела до самых ушей и молча смотрела вслед мужу большими лучистыми глазами. Он обернулся в это время, остановился и спросил кротко:

– Что ты так дико на меня смотришь?

– Уйди, ради бога уйди, – проговорила она с трудом, отворотившись и закрыв лицо руками.

Шилохвостов посмотрел на нее призадумавшись, вышел молча и ворчал про себя: «И здесь нет приступа – вот не знала баба горя, купила баба поросят!... Тот и гляди какой-нибудь несчастный роман разыграют – и все на нашу шею, па мою то есть с Карпушей, мы и отдувайся после».

Игривый по-прежнему навещал почти ежедневно Любашу, а иногда и Любаша приезжала на часок к своей матери в Алексеевку, а по воскресным дням к обедне. Любаше как-то совестно было взглянуть первое время на Павла Алексеевича она все припоминала слова своего мужа; но Игривый непринужденным, искренним обращением своим скоро заставил ее забыть это; она уверилась, что муж ее не проговорился Игривому, и успокоилась. После отъезда Карпуши и Шилохвостова Дорога вслед за ними заглохла, и слуха об них не было никакого. Между тем Анна Алексеевна захворала; с неделю уже ездил к ней уездный лекарь и утешал ее подробностями о найденных в уезде и подкинутых трупах, о том, что оказалось при вскрытии, и о предстоявших ему еще в этом роде подвигах. За микстурами беспрестанно посылали верхового в город; дочь и сам Павел Алексеевич не отходили от больной и через несколько дней закрыли ей глаза. Лекарь, приехав на другой день, рассказал по этому случаю несколько очень забавных анекдотов, заключил кратким изложением статистики скоропостижной смертности в уезде и уехал.

Тихо и чинно похоронили старушку в семейном склепе Подстойного, отпев ее в Алексеевке. Любаша с Павлом Алексеевичем шли вдвоем за гробом, который все крестьяне и крестьянки

Подстойного проводили от самой церкви в Алексеевке до семейного кладбища своих господ.

Возвратившись с прогулки, сын и зять с горя решились продать часть своего имения; а как она прилегала к полям Алексеевки, то Игривый сошелся с ними и купил ее. Прочие крестьяне Подстойного пришли по этому случаю всем миром к Павлу Алексеевичу и, кланяясь ему в ноги, просили, как они выражались, «отобрать» их всех от Гонобобеля и Шилохвостова и «взять за себя». Они привыкли видеть в соседе своем какого-то опекуна и защитника и человека с некоторым влиянием даже и на своих беспутных господ. Они в таких резких и выразительных чертах представили бедствие свое, крайность своего нищенского положения, что трудно было им возражать. Игривый успел, однако ж, успокоить их несколько, обещав пособить им при посеве и растолковав, что продажа зависит от их господ, а на покупку нужны, кроме доброй воли, еще и деньги. По случаю этой сделки, в которой Шилохвостое действовал также уполномоченным за Карпушу, он ухаживал день-другой около соседа, как будто у него было что-то па душе, и наконец, сидя у него после расчета с трубкою за стаканчиком чая с позолотой, повесил нос в стакан, стал помешивать чай свой в раздумье ложечкой и сказал:

– Подстойное наше, чай, все не минует твоих рук, Павлуша; да и с богом. Право, я тебе этого желаю. Беспутному сыну богатство не впрок. А кормить станешь нас, бобылей, меня то есть с Карпушей, под старость нашу, а?

– Накормил бы я вас лучше смолоду, – отвечал Игривый, – да так, чтоб вы не только до новых веников помнили, а не забывали и под старость.

Шилохвостов весело захохотал: этот лад речи был ему по вкусу. Он затянулся трубкой, прихлебнул чаю, перекинулся назад в кресла и, устремя с улыбкой глаза на Павлушу, сказал:

– Что правда, то правда; да уж и вы мне хороши; я, брат, себя не жалею, и сам браню себя, и другим не заказываю; да уж зато позволь попенять путем и тебе: я таких чудаков, признаться, не видал и во сне.

– Ну что же? – отвечал Игривый. – Будем удивляться друг другу – больше нечего делать.

– Послушай, модник, – продолжал тот, – я тебе не шутя сделаю еще одно предложение. Чтоб совесть тебя не мучила, коли ты больно

совестлив, так дело можно бы обделать хорошо так, что были бы и волки сыты и овцы целы...

– Я покуда еще тебя не понимаю, – сказал Игривый равнодушно, – но, признаться, добра не чаю от кудреватой речи твоей; не лучше ли тебе на всякий случай наперед обдумать то, о чем хочешь говорить, или уж просто промолчать?

– Да нужно, братец, сделай милость, полно дурачиться; выслушай меня спокойно да подумай после сам. Вот что, – продолжал он с небольшим, скрытым смущением, наклонившись вперед к собеседнику и положив оба локтя на стол, – я, братец, ей-богу, влюблен в Ивана Онуфриевича...

– Влюблен в Ивана Онуфриевича! – перебил Игривый и захохотал от души. – Ну что же? Мне сватать его за тебя, что ли?

– Э, братец! Да хоть не перебивай, дай договорить: я не шучу, ей-ей. Я говорю, что я влюбился в Ивана Онуфриевича Машу... Что бы тебе посвататься? Ведь за тебя отдадут ее обеими руками...

– А за тебя разве не отдадут?

– Да полно же, сделай милость; ведь я говорю дело: женись, а там разменяемся; вот и квиты!

– Ах ты голова-головушка моя! – сказал Игривый, покачав сам головою. – Нет, брат, я вижу, что ты все еще льстишь себе, когда честишь самого себя и так и этак...

– А что?

– Да так, больше ничего...

– Ну, Павлуша, послушай же, не дурачься... Ну, сделай милость, не дурачься! Ну, ругай меня! Что ж? Я сам все это знаю: ну, пьяница; ну, буян; ну, картежник, мот, негодяй; ну, подлец, одним словом... Женись, Павлуша, послушайся хоть раз в жизни моего братского совета! Ну что же ты так глаза на меня уставил? Я этого не люблю. Что ты смотришь так, о чем думаешь, скажи!

– Да я думаю, что бы такое придумать, какого рода мерзость, перед которою бы ты запнулся?

– Правда, братец, ей-богу правда; только не вор я, вот что!... Нет, вор, ей-ей вор! Таки просто украл раз у пьяного сто рублей – каюсь тебе, как на духу, а правда. Но уж зато душегубства нет на моей совести, видит бог, нет.

– Но есть надежда и на это, – продолжал Игривый. – Жену свою ты уморишь, этого не миновать.

Шилохвостов призадумался было, а потом спросил:

– А ты спасти ее не хочешь?

– Пулю б тебе в лоб, – сказал сурово Игривый, привстав со стула и понизив голос. – Но нет, и это ее не спасет. Ты заел всю жизнь ее, и один только милосердный бог спасет ее там.

Он оставил гостя и вышел один в поле. Шилохвостов никогда не видал его в этом духе; Семен Терентьевич долго глядел за ним вслед, потом посвистал, кивнув головой, и сказал: «Так вот оно куда пошло, ага!» – и уехал домой.

Бедный Игривый мог только смутно размышлять о тяжелом своем положении. Ему казалось, что у него уже неоставало более сил переносить все это; ему опять и нынче, как уже сто раз прежде, приходило в голову бросить все и уехать куда-нибудь подальше, надолго или даже навсегда. Ему казалось, что он здесь сойдет с ума. «Что меня держит? – думал он. – Для чего я здесь сижу и изнываю, как истинный, не баснословный Тантал?»

«А там опять, – думал он, – на кого же я ее покину? Если б она была одна-одинехонька – другое дело: тогда бы она здесь, среди своих крестьян и соседей, могла жить спокойно и беззаботно; но при таких защитниках и покровителях, как муж и брат ее, – нет, при них я отлучиться не могу. Бог укрепит меня; останусь здесь и буду пить горькую чашу эту, капля по капле, до дна. Что мне теперь до себя? Думать и заботиться о себе – мне было бы стыдно: я должен видеть одну только страдальицу свою и жить для нее. Малодушно было бы изменить теперь и себе и ей и покинуть ее преждевременно на жертву этим негодьям».

При таких размышлениях Игривый не успел подумать о том, куда он направил путь свой, как он вступил в небольшую кленовую просадь, которая вела к усадьбе в Подстойном. Он сам улыбнулся этой странности, этой случайности и продолжал медленными шагами путь; приветливо кивала ему из окна русая головка, к которой прижималось белое личико младенца; вежливо и доброхотно встретила его прислуга, суетившаяся на крыльце и в комнатах по поводу укладки чемоданов и снаряжения обоих в дорогу. Игривый

прошел прямо к хозяйке дома – по имени, хотя она на деле и была в доме, можно сказать, чужая.

– Добрый вечер, Любовь Ивановна!

– Здравствуйте, мой добрый Павел Алексеевич! Посмотрите-ка на моего Ваню: он первый вас увидел и полез было прямо из окна к дяде Пау.

– А поди-ка сюда, маленький разбойник, поди к дяде Пау! Ну что твои рыбки делают? А посмотри, какого я тебе сейчас жука поймал – вишь какой, с корову, и рог на затылке! Давай-ка, где твоя маленькая тележка, запряжем его!

– Я должна воспользоваться сумерками, – сказала вполголоса Любаша, – чтоб вы не видели, как я краснею, и поблагодарить вас за фортепяна... Их привезли сегодня – я так была эгим обрадована...

– Вот так, в оглобли его, – продолжал Игривый громко, закладывая своего жука и не обращая никакого внимания на слова Любаша. – Постой, постой; мы и дугу поставим и супонь подтянем...

– Я даже и за это вам благодарна, – продолжала она, – что вы теперь не слышите, о чем я говорю. Мне от этого как-то легче на сердце.

– А здоровье ваше каково сегодня? Что голова и грудь?

– Слава богу, хорошо; сегодня легкий день, и мне в самом деле лучше. – Сказав это, она как бы невольно взглянула в окно на приготовления к отъезду мужа и брата.

– Ба! Да вот он, наш любезный друг и сосед! – сказал, вошедши в комнату, Семен Терентьевич. – Вот спасибо, так спасибо, друг! А мы совсем. Прощай, Любаша... Видишь ли, каков он человек, – продолжал Шилохвостов, указывая на фортепяна, – а? Не чета тому скоту, который заложил было их Ивану Онуфриевичу и, разумеется, никогда бы не выкупил. Прощайте ж, друзья мои, – и обнял их обоих, – не поминайте лихом. Прощай, мальчишка, господь с тобой, – и вышел.

Игривый с Любашей проводили его до крыльца; Карпуша сидел уже в коляске и бросил оттуда рукой поцелуй сестре и гостю. Коляска покатила. С час времени Павел Алексеевич побыл еще в Подстойном, а там, отложив и выпустив на волю Ваниного жука, побрел тихим шагом домой. И в этот раз опять было молодая кровь в нем взыграла, возволнованные чувства породили бурные, черные мысли,

доводившие, его до отчаяния; но спокойная совесть вскоре одолела эту душевную тревогу, малодушие было побеждено, и доблестное мужество одержало верх. Игривый вступил под кров свой с спокойным духом.

Несмотря, однако ж, на уверение Любаша, что ей теперь гораздо лучше, здоровье ее, видимо, расстраивалось. И в самом деле, какое сложение могло бы устоять против этих жестоких и непрерывных ударов судьбы, которые выпали на ее долю? Какое женское сердце в состоянии перенести это двойственное томление – быть женою Шилохвостова, а между тем видеть ежедневно Игривого – и это вечное раскаяние с упреками совести за легкомысленный поступок во время первой, неопытной молодости своей, когда и сама еще не понимала, что делала, когда молча согласилась отдать руку человеку, как отдают ее на четверть часа для мазурки или кадрили... Какой конец этому будет? Где тут отрада? Где самая надежда?

Игривому уже часто казалось, что Любаша постепенно худеет и что здоровье ее мало-помалу расстраивается; но видя ее почти ежедневно, он не мог заметить никакой внезапной перемены; она все еще была в глазах его тою же милостивой Любашей, как прежде; а когда он заботливо спрашивал о ее здоровье, то принужден был довольствоваться общими ответами ее, которые ничего положительного не объясняли. Однажды он, посидев у ней по обычаю своему часок, простился с нею и отправился было домой, как при входе в кленовую просадь, ведущую от барской усадьбы на большую дорогу, был остановлен мамушкой Любаша.

– Не прогневайся, батюшка, кормилец наш, – говорила старуха, – я к тебе, все к тебе да к богу, больше не к кому, сам знаешь; ну что же я стану делать с барышней своей (она Любашу все еще звала барышней и никак не хотела отстать от этой долголетней привычки)? Ну ведь сохнет, моя голубушка,, как вот цвет на стебле...

– Говори, говори, Тимофеевна, что такое?

– Ох, уж не знаю что и говорить... Разговоры наши все тебе ведомы давно, и знаешь ты все, знаешь, кто раскинул нам печаль по плечам, кто пустил сухоту по животу... Изойдет она горем: не ест, не спит, все так сидит либо плачет; в рот не берет ни росинки; все подпершись локотком сидит, ночи напролет, по белой груди рукой

поводит – там, знать, сердце болит, ноет. Ох, уже изведет он мою барышню госпоженку... Тогда-то мы что с тобой делать станем, ась?

Расспросив еще несколько старушку и успокоив ее, сколько умел, Игривый, конечно, не мог добиться от нее большего толка; но материнские опасения ее напугали его, заставили обратить более внимания на положение Любаши, и он также стал за нее опасаться. «Надобно вовремя что-нибудь сделать, – подумал он, – шутить этим нечего; может быть, есть еще противоядие этой медленной отраве...» Он раздумывал, что ему делать; тут нужен был совет умного и опытного врача; уездному лекарю, который так хорошо рассказывал присказки о подкинутых мертвых телах, Игривый верить не хотел; он отправил чем свет коляску в другой, соседний город за врачом, к которому у него было более доверия.

Врач приехал, выслушал наперед Игривого, который рассказал ему все, что знал о состоянии здоровья Любаши; потом они вместе отправились к ней. Она несколько изумилась, увидев вместе с Игривым незнакомого ей пожилого человека; но когда дело объяснилось, то она была так тронута этим новым и вовсе неожиданным доказательством его любви и заботы об ней, что с трудом удерживалась от слез.

– Ну что же я вам скажу о нашей милой больной? – начал доктор, когда он остался наедине с Игривым. – Что мне сказать вам? Вы, я думаю, видите, слышите, чувствуете, понимаете и соображаете в этом случае нисколько не хуже меня. Я думаю, если несчастное положение этой женщины не изменится, то она, несмотря на то, что, по-видимому, владеет собою, при глубокой чувствительности своей, однако ж, легко может сделаться жертвою этих несчастных обстоятельств.

– Она и теперь давно уже жертва этих обстоятельств, – сказал Игривый, опустив мутные глаза на землю.

– Да; но я понимаю слово это иначе; я хочу сказать, что сожительство с мужем ненавистным и беспрерывные, тяжкие оскорбления от него, а с другой стороны, многолетняя и безнадежная склонность, а может быть, и страсть, которая, по обстоятельствам, еще беспрерывно разжигается, притом и материнские заботы о будущей судьбе детей своих, – я говорю, что все это составляет психическую причину болезни ее, этой грудной боли, биения сердца, почти

беспрерывной маленькой лихорадочки, истощения, бессонницы, недостатка позыва на еду, и что все это может кончиться изнурительной лихорадкой; тогда поздно будет думать о помощи. При болезни тела страдает и душа; при боли души изнемогает тело. Это круговая порука. Между тем первое условие для выздоровления – вынуть занозу, устранить самую причину болезни: без этого нет пользы ни от пластыря, ни от микстуры, ни от пилюль.

– Посоветуйте, доктор, что же тут сделать?

– Ей надобно удалиться отсюда на несколько времени, окружить себя новыми предметами. Может быть, до того времени тут что-нибудь изменится. Пошлите ее за границу.

– За границу?

– Да, на воды куда-нибудь, не для вод, а для прогулки. Пожалуй, хоть в Мариенбад или в Теплиц ^[7]. Ушлите ее на год: можете быть уверены, что здоровье ее от этого выиграет. Это польза прямая, – а косвенная, что мы выиграем время, и вы подумаете, что делать дальше. Вот мой совет.

– Но как это уладить, я не знаю; мысль эта для меня так нова, что я не умею взяться за исполнение...

– Признайтесь мне откровенно, вы не хотите расстаться с нею?

– Избави бог, любезный доктор, что вы это говорите! Я... я не знаю, как вам объяснить это, но сам был бы готов бежать отсюда бог весть куда, и я чувствую плубоко, что был бы сам спокойнее, если б ее здесь не было. Что же касается до нее, то, конечно, нет жертвы, которой бы я не принес ей на пользу.

– Ну так что же? Подумайте. Вероятно, как-нибудь устройте. Если помощь моя при этом нужна – я к вашим услугам. Расходы будут не так велики; из нашего уезда собираются в Теплиц Маслаковы, которые даже были в родстве с покойным Гонобобелем и, как я полагаю, не откажутся принять вашу недужную под свое покровительство; а Маслаков человек надежный.

Игривый поблагодарил доктора за этот умный совет, просил его поговорить с Маслаковым, сам убедил Любашу дать на то согласие и взялся кончить дело с Шилохвостовым. Предложение это, конечно, сначала крайне озадачило ее, но, будучи передано убедительными устами Павла Алексеевича, не могло встретить большого

противоречия. Бедная Любаша и сама поняла, что ей необходимо вздохнуть на свободе или задохнуться в этом чаду.

Протаскавшись недели три бог весть где, Семен Терентьевич наконец благополучно возвратился, разумеется, в том жалком виде, как обыкновенно возвращался с этих отчаянных прогулок. Игривый, не теряя времени, воспользовался первым удобным случаем, первым порывом уничтожения Шилохвостова, чтоб склонить его к согласию на отпуск Любашаи.

– Послушай, Семен Терентьевич, – сказал Игривый, – я когда-то пророчил тебе, что ты жену свою уморишь. Образ жизни своей, права своего ты не изменишь, и потому я пришел к тебе не для упреков и не для поучений, но спрашиваю тебя торжественно, хочешь ли ты дать этой страдальце еще небольшую отсрочку, хочешь ли подарить ей несколько спокойных дней, если это будет тебе стоить одного только твоего слова?

– Охота тебе, братец, как говаривал наш полковой писарь, вдаваться в такое отчаянное сложение без реванша – то есть стращать меня такими мудреными загадками!... Что ж мне тебе на это говорить? Ведь уж про самого себя мне тебе нечего рассказывать, уж ты меня знаешь, и знаешь, что я принимаю с признательностью всякую брань, всякое поношение, но уж наставлений не терплю; виноват, не варит желудок! Говори нараспашку.

– Кажется, Семен Терентьич, я тебе никогда не надоедал наставлениями и теперь об этом не думал. Но дело вот в чем: жена твоя хворает; я привозил сюда Межевского, он находит положение ее опасным и настоятельно советует ей ехать за границу, именно в Теплиц, в Богемиию.

– В Богемиию! Эж вас куда нелегкая несет!

– Нет, не нас, а одну только бедную и больную жену твою; может быть, с Маслаковыми.

– Да ведь там, слышно, шулера где-то на водах тех собираются, – так туда, что ли?

– Может быть, и собираются – об этом я не разузнавал; знаю только, что другие люди, кроме шулеров, ездят туда лечиться, и за этим-то надо бы ехать и Любове Ивановне.

– Что ж я стану делать тут? Я бы рад, хоть бы уж там каков бы я ни был, да с чем же я ее отпущу? Я ведь понимаю, чем это пахнет, а у

меня, кроме долгишек, нет ровно ничего; разве вот что: купишь ты У нас с Карпушей еще клочок землицы? Пожалуй, по самую усадьбу отрежем, нечего делать, – а? Ладно что ли? Ну, по рукам да давай деньги!

Это особь статья; я только спрашиваю тебя отпускаешь ли ты жену ради болезни ее?

– Отпускаю, братец, ей-богу! Что? Не веришь? И еще когда задумал жениться, так сказал и Карпуше дал слово, что исправлюсь, вот что! Ведь я хоть и негодяй, а душа у меня предобрая!

Рассудив, что имение Карпуши и Шилохвостова промотано, пропало невозвратно и расходится по клочкам располагая притом сделать из него со временем особенное употребление, Игривый прикупил еще и другую часть его, условившись наперед, чтоб известная сумма выдана была Любаше на поездку за границу Между тем все было для поездки этой изготовлено; срок, по условию с Маслаковыми, назначен, и Павел Алексеевич приехал проститься с Любашей и проводить ее за усадьбу; далее провожать ее казалось ему неприличным, потому что у нее были тут и муж и родной брат.

Она приняла его грустно и радостно, сидя среди дорожных ящиков и чемоданов. Он стал утешать ее старался немного развеселить и дал ей несколько советов и наставлений на дорогу; она долго слушала его спокойно и наконец спросила:

– Но когда же все это будет, друг мой? Мне кажется, что все приготовления наши сделаны на ветер

– Что это значит? Я вас не понимаю.

– Я говорю, что, вероятно, никогда не соберусь и не уеду отсюда.

– Как не соберетесь? Вам непременно должно выехать сегодня в положенный час, чтоб не опоздать разве вы не совсем?...

– Я совсем...

– Ну так за чем же дело стало?

Любаша помолчала, потом взглянула на Игривого и сказала вполголоса:

– За... мне ехать не с чем: я не получила и конечно, не получу ни копейки.

– Как это можно? Да я вчера уплатил все сполна, и, будьте спокойны, вотчина будет сбережена для ваших детей...

– Я вам уже столько обязана, что не умею более благодарить. Верьте мне, я поняла ваше благородное намерение, хотя вы мне не говорили доселе ни слова, конечно, щадя меня... и за это я вас благодарю... Не менее того у меня денег на дорогу нет, и потому я не поеду.

– Но объясните мне, ради бога, все это; я ничего не понимаю.

– Объяснение очень просто; Семен Терентьич с Карпушей уехали в ночь бог весть куда и взяли все деньги с собой, до копейки.

– А! так вот что!... Ну, это уж моя вина, – сказал Игривый. – Оплошность моя непростительна. И в самом деле, как я мог думать только, что, взяв деньги в руки, они сдержат свое обещание! Воля ваша, а это так забавно, что, право, тут сердиться не на кого! Тут я один виноват, и я же за это в дураках. Впрочем, это все равно, это мое дело, я с ними сочтусь.

Он отправился поспешно домой, через час воротился, привез денег, отправил и проводил Любашу. Она молчала и плакала, поручила другу своему детей – у нее было их уж двое, Ваня и Анюта, – и, обнимая его, всего в другой и в последний раз во всю свою жизнь, сказала:

– Что бы ни случилось, ворочусь ли я, нет ли, ради бога, обещайтесь мне быть отцом моих детей: они сироты...

– Обещаюсь вам, Любовь Ивановна, и после этого обета вы можете быть спокойны; разве меня не станет. Вы были моею: бог нас соединил, люди разлучили; но на детей ваших я смотрю как на своих.

С сокрушенным сердцем глядел Игривый вслед за исчезавшею вдаль коляской, и ни одна душа из многолюдной дворни, проводившей любезную барыню свою до этого распутья, не нарушила каким-либо звуком продолжительное, задумчивое молчание Павла Алексеевича. Народ уважал его и, казалось, понимал по какому-то безотчетному сочувствию. Приехав домой, бедняк несколько успокоился, ему стало полегче; тяжелый камень, хотя временно, свалился с плеч его; он был свободен, он мог бы ехать вместе с Любашей; он сильно чувствовал потребность эту, должен был даже сознаться, что и для нее это было бы наконец ясным, счастливым временем после стольких ненастных, бедственных лет, – но он не хотел пожертвовать доброй славой ее и старался вести себя с возможною осторожностью. Прислуга, чрез которую обыкновенно расходятся все домашние вести и сплетни, не

только вся была на стороне Игривого, но также была убеждена в чистоте дружбы его с их молодой барыней и из уважения к ним обоим стояла за правду: в целом уезде отношения этой четы были известны в настоящем их виде, и, несмотря на все толки, пересуды, сожаления и шуточки, вообще все-таки знали, что Игривому и Любаше упрекнуть себя не в чем.

Возвратившись в одиночество свое, Павел Алексеевич занялся еще прилежнее хозяйством, особенно же старался привести в порядок расстроенных крестьян, приобретенных у соседа, и успокоить тех, которые остались еще заложенные и перезаложенные за Карпушей. Шилохвостое продал весь участок женин; но не менее того, по тесной и неразрывной дружбе с шурином, с которым у него было все пополам, управлял некоторым образом остатком его имения, если только эти бестолковые распоряжения можно было назвать управлением. Игривый почти каждый день бывал в Подстойном, присматривая за детьми Любаша, и почти каждый раз должен был успокаивать крестьян то убеждениями, то кой-какими пособиями. Он часто не знал, как быть и что делать.

Уклонившись, собственно по этому тягостному чувству, от добровольно принятой им на себя обязанности и не побывав несколько дней в Подстойном, Игривый Поехал однажды опять проведать малюток. Он оставил их до этого на руках отца; а теперь, когда отец отправился опять вместе с Карпушей провожать какой-то цыганский табор на ярмарку, Павел Алексеевич нашел детей брошенных почти без всякого надзора. Ваня чуть было не утонул, Аняте сердитый гусак чуть не выбил крыльями глаз, оба не одеты, не умыты – а виноватого нет. Бедные малютки так обрадовались Павлу Алексеевичу, что повисли на нем и не хотели отцепиться. «Останься, дядя Пау», – кричал один. «Я хочу к тебе, дядя Пау», – кричала другая. «Дядя Пау» прослезился, обнял их, посадил к себе в коляску и увез в Алексеевку.

Это сделать было легко; но что дальше? Дети в этом возрасте, и без матери... У Павла Алексеевича сжималось сердце, он понимал, что это значит. Наемная рука хорошо сечет ребенка, но дурно ласкает. Любовь матери – вот что ему нужно, как младенцу грудь ее, и если последняя еще иногда может быть заменена, то первая едва ли.

«Я должен отыскать для них мать, я должен найти такое существо, которое бы их любило. Пусть она не знает по-французски,

пусть даже будет и вовсе не-образована, я сам буду наставником ее и их, и этот недостаток во всяком случае со временем легко исправить; мне нужна теперь для них мать в том смысле, как в ней нуждается и щенок и цыпленок».

Удачный выбор Игривого пал при этом случае на женщину, о которой мы должны сказать несколько слов.

Ко времени выпуска Любаши из образцового пансиона была приготовлена для нее, по общезаведенному у нас порядку, горничная, молодая и довольно пригожая девушка, взятая нарочно для этого покойницей Анной Алексеевной во двор. Маша – так ее звали – была сирота; кроткая, добродушная и смышленная, она вскоре переняла все хорошее, что видела и слышала, и по врожденной склонности к порядку и опрятности, даже и по наружности своей выгодно отличалась от прочей дворни. Маша сильно привязалась к барышне своей, которая также полюбила ее и от скуки занималась ею как воспитанницею, припоминая пансионские уроки. Любаша не скоро могла освоиться с бытом деревенской барышни и не вдруг оставила все пансионские обычаи, привычки и мечты; без уроков, без учителя и учениц ей как будто чего-то недоставало, и если она смотрела на всех старших себя, заслуживших ее уважение, как на учителей и воспитателей своих, то младшие и подчиненные, особенно девушки, ей казались ученицами младшего класса, о которых она должна заботиться. Маша подросла, сложилась, похорошела, распевала на весь двор ясным голосом своим перенятые у барышни романсы или бежала с рукомойником под гору, чтоб принести своей повелительнице ключевой холодной воды умыться, и громко читала наизусть «Цыган», «Полтаву» или «Онегина», делая без всякого дурного умысла небольшие поправки вроде следующей:

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
По имени Владимир Ленский:
С душою прямо гренадерскою,
Красавец, в полном цвете лет, и прочее.

Вдруг Иван Павлович Гонобобель, приводя однажды хозяйственные надворные дела свои в порядок, распорядился выдать Машу замуж за молодого кучера. Возражений на это не было... Жених с невестой явились благодарить барина и поклонились ему в ноги; Любаша снаряжала любимицу свою, готовила ей, сколько и из чего могла, приданое, была у нее на девичнике и убирала ее под венец. Разувая своего князя, Маша с покорностью вынула из одного сапога два пятака, а из другого плетку и подала ее молодому, припав сама на колени и поникнув послушно головою, хотя и обычай этот был придуман, конечно, не для нее и ей подобных, кротких безответных невест. Сначала все шло хорошо; но, перешед по смерти Гонобобеля во владение Шилохвостова, молодой кучер запил, потом пьяный нагрубил барину и прибил бедную Машу; потом разбил вдребезги коляску и утопил лошадь, и Семен Терентьевич сдал его в рекруты, получил квитанцию, которая, разумеется, была продана, а деньги употреблены, собственно, на тот же предмет, за который кучера отдали в солдаты.

Как бы то ни было, но Маша не успела оглянуться и выплакаться за последние побои беспутного мужа своего, как осталась вдовой при живом муже, с первым грудным ребенком. Она была незлопамятна и, позабыв все, что переносила от мужа, помнила в это время только одно, что он хоть лыками сшит, да ей муж; отчаянье ее, когда его повезли в город, превосходило всякую меру, хотя оно, по тихому, кроткому нраву ее, и не обнаруживалось такими страстными порывами, как это большею частию случается в простонародии. Любаша плакала с нею и за нее, но не могла пособить ей ничем. Лишь только Маша стала было несколько приходить в себя, покорившись неизбежности своей участи, как новый удар поразил ее едва ли не с большею жестокостью, чем первый. Оставшийся при ней младенец один только и был утехой ее в этом бедствии; она не выпускала его из рук, и барыня ее, соболезнуя к участи своей любимицы, не тревожила ее, не спрашивала с нее работы и призывала только иногда, стараясь ее развеселить. Если б этот младенец был просто похищен у Маши смертью, то, конечно, и этот удар в такое время был бы жесток; но случилось еще гораздо хуже – судьба была к этой сирой вдовице еще немилосерднее. По обычаю, довольно общему у нас в народе, Маша укладывала ребенка спать вместе с собою, на свою постель; вся сила

привязанности ее сосредоточивалась теперь на этом младенце, которого она любила через меру и не могла выпустить из своих объятий. С того дня, как она лишилась мужа, ребенок спал всегда при ней. В одно раннее утро вся дворня была испугана внезапным диким криком несчастной матери; все сбежались и с ужасом увидели, что она держала на руках своего мертвого младенца. Она, как говорится у нас в народе, «заспала» его.

Этому новому удару бедная Маша не могла уже противостоять. Ее обуяло какое-то дикое отчаяние, чуждое кроткому ее нраву. Она посягнула было на самоубийство; потом состояние это постепенно перешло в тихую, немую задумчивость, из которой по целым дням нельзя было ее пробудить; одна только Любаша могла с нею разговаривать, и беседа эта всегда оканчивалась обильным и горьким плачем несчастной матери, что облегчало, по-видимому, хотя временно, ее страдания. При виде каких-либо детей лицо ее как будто прояснялось: она подымала глаза, смотрела на них робко, но спокойно, ласкала их и даже иногда улыбалась. Мало-помалу она по наружности несколько возвратилась к жизни, но всегда была грустна, почти не говорила, сидела задумавшись, прилежно работала, не пропуская ни одной службы в церкви, где во все время стояла на коленях и клала земные поклоны. Так как церковь была в Алексеевке, то Игривый встречал ее там нередко, говорил с нею, стараясь ее успокоить и вразумить и поселить в ней веру и смирение вместо овладевшего ею отчаянья; таким образом, по расспросам об ней и по разговорам с нею самой, узнал он ее ближе и оценил все природные достоинства этой женщины.

Когда Игривый стал мысленно приискивать для приемышей своих няньку, или, вернее сказать, вторую мать, то остановился выбором своим на Маше. Ему казалось, что она во всех отношениях будет отвечать этому выбору.

Маша встала рано утром смутная, – она все еще жила на господском дворе, работая, что ее заставляли, и ее за это по-прежнему милостиво кормили, когда было что есть другим, – Маша встала смутная, задумывалась при работе и вздыхала.

– О чем опять загрустила, Маша? – спросила другая молодая женщина. – Полно! Уж сколько тебе говорят, что полно!

– Нет, Анна, – отвечала та, – я так... я что-то...

– Да ну, говори... кто тебя обидел, чем?

– Никто, Анна; кто ж меня обидит... за что меня обижать? Нет... Да я сон видела...

– А какой сон, Маша, расскажи; может статься, к чему-нибудь... может, и к добру? Ну, расскажи!

– А видела я, ровно еще живу в девках и пошла по воду; тут гляжу – башмаки лежат под кустиком, сафьянные, рябенькие, красные, а по ним зерна черненькие. Тут я будто стою по-над рекой, а на руках у меня цыпленочек, да такой хорошенький, с хохолочком... Я его вот будто стала поглаживать рукой, да и обронила в воду. Вот я так испугалась, так сердце и дрогнуло во мне... Кинулась я за ним, бродила по воде, всю речку исходила, нет, – так и пропал. Я вышла на берег вся мокрая, да села, да и гляжу, – а тут отколе ни возьмись два голубка белых ровно снег, прилетели, да и сели на меня – один на одно плечо, другой на другое. А тут я уж будто в барских покоях сижу, и платье на мне не то, а белое, подвенечное, что ли, – да все закапано чем-то, ровно чернилами, вот будто все мухи сидят; а голубочки все склевывают, все склевывают пятнышки, обирают их с меня; а тут уж и не знаю, ровно барышня меня позвала громко... Проснулась, ан только дедушка Макар на печи кашляет...

– Ну, Марьюшка, – сказала Анна, – ведь это сон такой, что ведь не скоро увидишь его в другой раз, ей-богу; ну, о чем же ты горюешь? Ведь это, стало быть, все к хорошему, к добру... это, стало быть, замуж, что ли, тебе приходится идти...

– Господь с тобой, Анна, что ты говоришь это...

– Да ведь хорошее что-то, Маша; ну, ей-богу, воля твоя... Степановна! а Степановна! Поди-ка сюда, пожалуйста, поди, – продолжала Анна, увидав старуху коровницу, знаменитую снотолковательницу. – Матушка Степановна, послушай, вот Маша-то все горюет, а сон видела хороший, ей-богу хороший, только уж мудреный больно, что и не разберешь... Вот послушай...

И Степановна, присев на завалинке рядом с двумя молодыми бабами, сложила руки, слушала, придакивая и понукая по временам, а там объявила, что этот сон к добру и притом очень ясен, что понять его не мудрено.

– Что ж, – сказала она, – и вестимо, что сон хороший. Вот видишь ли: башмачки – это прошлое, это, выходило, тебе замуж идти, ну и

вышла; красные башмаки – веселая свадьба, а чубаренькие – горе; вот оно и выпало на твою долюшку: цыпленочек – сынок твой; ну и прижила его, да и погубила – и обронила в воду, и не нашла. А в воде ходить, мокрой быть – это все слезы; и немало ж их и было у тебя, Марьюшка, – вот и река. Ну, а вот дальше – так это видно еще будет вперед; а что будет – богу одному ведомо, все это одному богу известно. Голубки-то, вишь, – кабы муж у тебя здесь был, так сказать бы, что детки у тебя будут, да и чуть ли не двойни...

– Господь с тобой! – перебила ее Маша, перекрестившись. – Что ты это говоришь, Степановна! Да этого и слушать нельзя...

– Так погоди ж, моя красавица, дай срок, не перебивай; ведь я тебя ничем не порочу: я говорю, кабы муж был – а как его нет, ну так уж и не знаю; к другой ли, что ли, это радости, к вестям ли к каким – не знаю, уж это богу известно. А что обирали они с тебя черные те крапины, ну так это все к добру: позабудешь старое горе по новым радостям, вот что. Греха-то ведь на тебе и нет, Марьюшка, а ведь вся душенька твоя померкала, хоть и нечаянно сгубила младенца, а все душа его на тебе... Ну вот, и сымут с тебя голубочки грех этот, и господь тебя простит...

Маша горько заплакала, а подруга ее напустилась за это на старуху:

– Уж ты, Степановна, господь с тобой, – право, господь с тобой, – говоришь бог весть что и еще стала попрекать Машу старым, не жалеючи ее, да вот опять и разжалобила, когда она и без того изнывает! Иди, иди, добро, к телятам да к коровам своим, слышь, по тебе плачут...

А сама стала утешать Марьюшку, припоминая ей одну только хорошую сторону этого сна и слов старухи, и вслед за тем принялась клясться и божиться, что все это к добру.

В этот же день после обеда нарочный от Павла Алексеевича приехал за Машей. Она тотчас же довольно беззаботно собралась и поехала, нисколько не обеспокоенная этим неожиданным зовом, потому что Игривый был любим всеми и ни один добрый человек не чуждался его.

– Зачем бы это, – думала она однако ж, когда телега с нею покатила со двора, – разве кружевница не нужна ли Павлу Алексеевичу – да на что же ему? Он человек одинокий. Посмотрим;

вот близко – церковь видать из-за лесу, – и, перекрестясь, она спокойно стала выжидать конца.

– Маша, – сказал он, когда она вошла к нему, молча поклонилась и, подпершись локтем, стала у дверей, – Маша, отгадай-ка, для чего я тебя позвал?

Маша вздохнула, потупила глаза и молвила:

– Стало быть, вы знаете, Павел Алексеевич, когда позвали; а я слуга ваша.

– Ну, однако ж, отгадай?

– За добрым делом, Павел Алексеевич; за худым не позовете.

– Так, правда твоя, Маша, за добрым делом; я позвал тебя за богоугодным, христоробивым делом. Послушай, Маша: господь взыскал тебя страданиями. Что ж? На это была воля его святая; он и сам страдал больше нашего. Но я думаю, что теперь время твоего искуса миновалось – полно же плакать, Маша, полно; слушай меня хорошенько: я не к слезам говорю с тобою, а к радости. Я думаю, что если только сама теперь не откажешься от своего счастья, то ты будешь весела и спокойна... Слушай, Маша: бог дал тебе опять детей – и не одного, а двух разом!

Маша вздрогнула, отняла руки от лица – слезы текли по щекам ее, и она, пораженная последними словами Игривого, смотрела на него в каком-то недоумении.

– Дети, – продолжал он, растворив дверь в соседнюю комнату, – Ваня, Анюта, подите сюда!

Вошла женщина, которая держала на руках Анюту и вела за руку Ваню.

– Вот это будут покуда дети твои, Маша, до возвращения нашей доброй Любви Ивановны; а там, коли ты матерински призришь их, чай и она их у тебя не отымет...

Теперь только Маша поняла в чем дело: она зарыдала и кинулась обнимать и целовать попеременно то Ваню, то Анюту, то самого Павла Алексеевича, то даже, наконец, ту женщину, которая привела детей и которая была временно придана им вместо отпущенной старой няньки. Маша кинулась к ней поспешно и от нее хотела опять броситься к детям; но та принялась чинно целоваться с нею, переваливая ее со щеки на щеку, и, похристосовавшись таким

образом, с важностью ей поклонилась. Наконец Маша упала Павлу Алексеевичу в ноги. Он поднял ее и спросил:

– Хочешь ли заступить мать у этих полусирот? Маша с трудом промолвила: «Хочу, хочу...» – опять

бросилась обнимать детей, взяла Анюту и в этот вечер уже более не спускала ее с рук.

Памятливая, умная и послушная, она строго следовала наставлениям Павла Алексеевича при воспитании доверенных ей деток; она легко поняла и всегда помнила, что первым условием при воспитании детей есть: не лгать перед ними или при них и не обманывать их никак, ничем и никогда, ниже в малейшей безделице. Через этот камень преткновения всех мамушек и нянюшек Маша легко перешагнула и, живучи отныне с ними и для них, расцвела и сама опять для жизни и грешную молитву свою о том, чтоб бог скорее ее прибрал, заменила другою, более христианскою: о благоденствии доверенных ей малюток. Заботливее Маши не могла быть для детей и лучшая мать; а Игривый отныне не только заступал у них место родного отца, но сделал гораздо более: он спас всю их будущность от губельного влияния этого человека. Он же, Игривый, был и первым наставником и учителем их, когда судьба впоследствии возложила на него и эту обязанность.

Семен Терентьевич, который и самую женитьбу свою припоминал иногда потому только, что считал себя с грехом пополам помещиком, каким сделался посредством женитьбы, – Семен Терентьевич, возвратившись с последней поездки, и не заметил в первые дни отсутствия детей своих; потом спросил как бы мимоходом:

– А что же, кажется, ребятишек не видать?

И узнав, что сосед увез их с собою, промычал что-то вроде: «а!» или «мм!» – и пошел своим путем.

Когда все это устроилось, то и Павел Алексеевич ожил несколько. Его не тяготила более день за день и с часу на час участь Любаши: он знал, что она теперь весела и спокойна, что даже в его воле было продлить это спокойствие; детки ее были пристроены; он также не ездил более в Подстойное, не видел беспрестанно перед собою этого бесчинства и теперь даже не хотел и слышать о том, что там делается. Он внезапно стал семьянином, жил не только для себя, но и для

других, милых ему существ, и день казался ему вдвое короче и яснее прежнего.

Прошло уже с лишком год, как Любаша была за границей; она писала Игривому, скучала по нем и по детям, но сама сознавалась, что здоровье ее чрезвычайно поправилось. Игривый выслал ей еще денег, написав ей, что они получены от мужа ее и брата, и просил остаться еще за границей. Он сделал это, рассудив, что ей возвращаться на первый случай незачем и что три недели, проведенные ею опять в Подстойном, без сомнения нанесли бы ей более вреда, чем год, проведенный в Теплице, мог принести пользы. Любаша писала ему на это:

«Не смею даже благодарить вас – вот в какое положение вы меня поставили! Итак, благодарите от меня мужа и брата... Но что тогда, если благодарность эта, несмотря на слепое послушание мое вам, не дойдет до них, а останется при том, кому она следует?... Все равно; я вам уже столько обязана, что считаться с вами не могу...»

Между тем на взбалмошного Шилохвостова вдруг напала хандра: он стал скучать по жене и начал ездить к Игривому, чтоб видеть детей. Нежность эта шла к нему, как к корове седло, – не менее того он был муж и отец и никто не мог ему запретить вздохнуть и скучать по жене и ласкать детей. Сколько ни морщился бедный Павел Алексеевич, а должен был показывать вид радушия при этих посещениях. Мало-помалу Шилохвостов и сам привык к этим поездкам в Алексеевку, где его кормили и даже несколько поили, тогда как он дома нередко сиживал, посвистывая, и думал: «Как бы теперь хорошо было съесть что-нибудь порядочное и запить как следует и чем следует...» Он нашел, что в Алексеевке гостить выгоднее, чем жить дом-а, и под предлогом, что скучает один, что не может жить без жены и без детей, которые-де составляют единственное его утешение, проводил у соседа целые недели. Он вскоре там до того обжился, что, повидимому, считал алексеевскую усадьбу настоящим местом своего жительства. Этого мало: вообразив себя хозяином

Алексеевки, Шилохвостов начал и сам хозяйничать там. «Вина! Водки! Рому! Закуски! Горького!» – эта команда раздавалась громогласно под скромною кровелькой Игривого, где ни сам хозяин, ни люди в доме не привыкли к жизни этого рода. Вскоре и Карпуша, встосковавшись по друге своем, стал его навещать; затем также нашел, что его никто домой не гонит и там дети по нем не плачут, что, наконец, и жить на чужой счет выгоднее и удобнее, – а потому также поселился у соседа и поселил тут же слугу своего и кучера с тройкой лошадей.

Истоцив все осторожные намеки, а с тем вместе и терпение свое, Игривый наконец решился во что бы ни стало очистить дом свой от такого нашествия. К этому подал довольно приличный повод незначительный по себе случай: Шилохвостов с Карпушей, кроме разных бесчинств, вздумали для забавы напоить пуншиком пятилетнего Ваню и прибить бедную Машу за то, что она вступилась и не хотела этого дозволить. Разобрав и покончив дело это и дав буянам проспаться, Игривый сказал без обиняков Шилохвостову:

– Послушай, однако ж, любезный! Ты, кажется, намерен поселиться у меня совсем?

– А что? – спросил тот.

– Да так; я бы желал знать мысли или намерения твои по этому делу.

– Эх, любезный Павел Алексеевич! Ты друг и благодетель наш. Я ведь не то чтоб... я так, погостить думал у детей... Ну, куда же мне деваться, ну, посуди сам: дома одному тоска – мочи нет; ты знаешь, я люблю семейную жизнь, тихую, укромную... Ну, брани меня, я сам знаю, каков я, знаю это лучше тебя... Да ведь дома-то, брат, скука, что с души воротит... Бестолковый Карпуша этот – Карпуша да Карпуша – о, да и надоел же он мне...

– А между тем ты и сюда привел его хвостом за собой – и он также тут поселился...

– А черт ли его приводил! Да коли хочешь, так я, брат, с удовольствием вытолкаю его отсюда в шею!

– Нет, не трудись; этого я не хочу; но, признаться, хотел бы быть у себя в доме сам хозяином и господином. Посуди сам, Семен Терентьич: мы с тобой хоть и приятели, но жить вместе нам не приходится. Приезжайте раз в неделю, хоть, пожалуй, на весь день, –

и я тебе буду рад; повидишься с детьми, побалагуришь, да и с богом домой. А Карпушу, сделай милость, не вози ко мне вовсе: он, чай, не соскучился ни по сестре, ни по племянникам, ни по мне – так ему здесь и делать нечего.

– Так я детей своих только раз в неделю и увижу?

– Это довольно, любезный; вспомни, ты покидал их прежде и не на одну неделю: стало быть, тебе не идет теперь прикидываться таким нежным отцом... Ты в этот день, например в воскресенье, приедешь к обеду, соберешься с силами и останешься порядочным человеком на весь день, не станешь кричать: «Водки! Рому! Горького!» – не станешь браниться с людьми моими ни за что ни про что, оставишь в покое девок – одним слоном, покажешь отеческий пример детям, чтоб им не стыдно было смотреть отцу в глаза; а там поезжай с богом и делай дома что хочешь.

– Бог тебе судья, Павел! Да ведь добро наше теперь все почти у тебя в руках,

– Что же? Разве я его взял у вас наездом? Разве ты можешь попрекнуть меня, чтоб я приобрел его какими-нибудь непозволительными средствами!

– Нет, я этого не говорю; да ведь помнишь ли, не я ли спрашивал тебя тогда же, что кормить-де под старость нас, дураков, станешь!

– А вспомни, не я ли тогда же отвечал, что накормил бы вас путем смолоду, а теперь лих-поздно?

– Правда! – сказал тот со вздохом. – Ну, брат, так прощай; да только скучно же мне будет дома возиться с мужиками да с дураком с Карпушей... Знаешь ли что? Уж я давно об этом подумывал; ведь пора бы жене моей воротиться: надо же и честь знать; вот бы мы и зажили!

С этого времени несчастная мысль о возвращении Любаши не оставляла Шилохвостова, несмотря ни на какие убеждения Игривого. Соглашаясь, что он подлец и негодяй, что ему опять скоро прискучит жить с женою, Шилохвостов, однако ж, козырял правом своим и как супруг требовал жену свою налицо. Он до того увлекся этою несчастною мыслью, что не шутя стал собираться сам за женою, если она не послушается зова его и не приедет.

Что тут было делать? Обдумав все, Игривый уже решился было для спасения бедной Любаши принять к себе в дом Шилохвостова, надеясь отвлечь его этим от исполнения угрозы, но колебался,

предвидя нескончаемую для себя муку от этого сожительства и, сверх того еще, будучи уверен, что Шилохвостов не в состоянии долго жить спокойно, а, кроме всех проказ своих, непременно опять вскоре примется за старое и будет настаивать, чтоб Любаша возвратилась. В этих заботах Игривый провел несколько беспокойных дней, а может быть, и недель, как Шилохвостов, не шутя готовившийся уже в путь, прискакал к нему сломя голову, кинулся на него как сумасшедший и с криком: «Детки мои, сиротки мои... Павлуша мой... боже мой...» – бросился ему на шею. Он неистово ревел и завывал, так что Игривый с трудом только отвел его в свою комнату и запер двери, желая устранить позорное зрелище это от прислуги. С отчаянным движением Шилохвостов выдернул из кармана письмо, подал его Павлуше, а сам упал в кресло и закрыл лицо руками. Игривый прочитал уведомление от неизвестного человека, какого-то немецкого доктора, что Любаша уже нет на свете. Она скончалась довольно внезапно и похоронена в Теплице, успев, однако ж, написать еще приложенное завещание, которым передает все имение свое мужу и умоляет его быть отцом своих детей, но предоставить воспитание их Игривому, если только Павел Алексеевич просьбы ее не отринет.

С сожалением и презрением смотрел Игривый на этого беспутного во всех отношениях человека, который рвал на себе волосы с отчаянием по жене, между тем как сам же отравил все бытие ее. Теперь Любаша была, по словам Шилохвостова, и друг его неоцененный, и любовь его, и радость, и ангел-хранитель... Теперь наконец уничтожение этого человека дошло до того, что он не находил слов для выражения брани, которою бы мог достойным образом поносить себя... К вечеру Семен Терентьевич привел себя с горя в такое отчаянное положение, что был отправлен домой в беспамятстве; кучер, привезя его домой, долго кричал людям: «Да возьмите, что ли, барина-то! Долго ли ему тут лежать? Ведь я коляску-то задвину в сарай; ночью дождь будет...»

Поутру Шилохвостов с трудом только сообразил вчерашние похождения свои, послал записку к Игривому, умоляя его прислать хоть пятьдесят рублей, и поехал для рассеяния покутить в ближайший город.

Не станем теперь следить за всегда ровною и одинаковою жизнью Шилохвостова и Карпуши, которые, как мы видели, никогда не

стеснялись какими-либо узами долга и приличия, а теперь и подавно хозяйничали на просторе, так что все соседи покачивали головой и с некоторым беспокойством пророчили, что все это *чем-нибудь* да кончится. Опасение, которое выражалось в этом двусмысленном *чем-нибудь*, было не без основания, и конец вылился из дурных дурной.

Шилохвостов был уже круглый бобыль; он давно промотал все женино имение и жил нахлебником на крохах у шурина, над которым приобрел такую власть, что командовал и управлял всем. Люди ненавидели его, как «врага рода человеческого», во-первых, потому что считали его, не без основания, соучастником в окончательном разорении вотчины, а во-вторых, за развратную жизнь, в которой он постоянно был наставником Карпуши.

Карпуша поехал куда-то на недельку один, а Шилохвостов остался дома. Соскучась сидеть и пить, он велел оседлать коня и поехал в поле. Прошло час, два или три, как вдруг на барском дворе сделалась тревога, стали сбегаться люди со всех концов села, и вскоре сбежалось все село, стар и мал, мужики, бабы и дети.

– Что там такое, Тимоша? – спросил едва движущийся старик с печи или с полатей барской людской, когда в двери вбежал молодой парень и сорвал поспешно с гвоздя кафтан свой и шляпу. – Чего там народ сбежался ровно на пожар? Ась? Не слышу!

– Да ничего, дедушка Макар; поди-ка погляди: гнедой гостинца привез.

– Какой гнедой? Какого гостинца?

– А привез барина, Семена Терентьича.

– Ась? Привез барина? Ну что ж за диво?

– Да, что за диво! Поди погляди, дедушка: диво-то такое, что поехал барин на коне, а приехал под конем; вот и диво. Крестись, дедушка, да молись: бог прибрал его.

Сказав это, Тимоша выбежал опять из избы; старик перекрестился и прочел молитву, а между тем полез, кряхтя, с печи.

Вышед на двор, он заметил, что здесь собралось все село. Пробравшись с трудом в середину толпы, он увидел оседланную верховую лошадь Семена Терентьевича, который лежал неживой и в обезображенном виде на земле, а одною ногой висел в стремени. Лошадь была в поту и в мыле, вся дрожала и фыркала; староста держал ее под уздцы, а сам тужил и горевал вслух о том, что не знает, как теперь быть и что делать: он разослал уже конных за исправником, за Павлом Алексеевичем и другими, но сомневался, чтоб земская полиция могла вскоре прибыть, а между тем не смел прикоснуться до того к покойнику и в то же время недоумевал, как удержать бешеную лошадь в этом положении и не дать ей освободиться от трупа. Бедный староста стоял бледный, расстроенный, тпрукал, почесывал у себя затылок, оглядывался, тужил и горевал, между тем как лошадь храпела, дрожала всем телом, оглядывалась и рвалась то в бок, то в сторону. Народ стоял молча, то перешептываясь между собою, то опять поглядывая на страшное зрелище, и ждал, чем все это кончится.

Когда наконец суд выехал и произвел следствие, то обнаружилось только ровно то, что мы сейчас описали: Шилохвостов поехал живой, но вполпьяна, и лошадь принесла его убитого в стремени. Суд заключил, что Шилохвостов был сбит лошадию, повис одной ногой и таким образом затаскан до смерти.

Крестьяне Подстойного давно уже были разутые и раздетые бобыли: с них поживиться было нечем, как ведомо было всякому; рассудили, что не стоит заводить дела и шуметь из-за пустяков, и потому предали его воле божьей.

Услышав об этом происшествии па чужбине, Карпуша как будто немного опомнился. При всей бутылочной храбрости, у него, однако ж, подкосились было ноги и язык онемел. Он вспомнил, что говорили ему не раз соседи и что пророчила какая-то темная молва, и рассудил, что коли зять его теперь «пристроен», то о нем заботиться нечего, а надобно-де подумать о себе. Убедившись, что он теперь остался ка

свете один, горемычным сиротою, без наставника и товарища, с которым так свыкся, Карп Иванович сделался малодушным и горько заплакал. Он струсил до того, что даже не решался ехать в вотчину свою и долго не знал, что делать. Наконец бог его надоумил.

Павел Алексеевич сидел после обеда на своем диванчике, Ваня и Анюта лазили по нем, а Марья Кондратьевна, то есть Маша, стояла с веселою улыбкою перед ним и уговаривала детей, застрявших в песке, надеть другие платица; Ваня шагнул на плечо дяди Пау и не хотел расстаться с алой рубашонкой, а Анюта тянулась вслед за ним и также повторяла: «Не, няня, ни-ни!» В это время коляска прокатилась мимо окон; Игривый узнал ее тотчас, встал и встретил Карпушу.

– Павел Алексеевич! Беда! Спаси! – проговорил он и начал его крепко обнимать.

– Какого же ты чаешь от меня спасенья?

– Да я слышал вот – меня не было дома, – я вот вчера только узнал и не могу еще опомниться... Ты был там?

– Был.

– Что ж, правда?

– Я не знаю, что ты называешь правдой: покойник стоит здесь в церкви – завтра похороны.

– Ах, боже мой, боже мой... Но ведь говорят, будто...

– Это говорят; но, видно, слух при розыске не подтвердился: суд не изъявил подозрений и разрешил уже погребение.

– Как ты думаешь, что же мне, сироте, теперь делать?

– Идти дальше тем же путем: пример в глазах.

– Ах, Павел! И ты можешь теперь так шутить...

– Я не шучу, Карпуша, я говорю только горькую истину.

– Да что же мне делать теперь? Не опасно ли мне будет воротиться домой и жить там?

– Этого я не знаю. Это ты сам должен знать лучше.

– Послушай, Павел, я решился: ради бога, развяжи меня с Подстойным совсем – и много ли там его осталось? Возьми все, оцени сам, дай мне угол у себя – я туда не поеду...

– Если хочешь продать мне остатки твоей вотчины – изволь, я покупаю и могу дать тебе цену выгоднее других, потому что мне покупка эта сподручнее другого. Но угла я тебе у себя в доме не дам; на этом не взыщи.

– И тебе не грешно, Павел? За что же ты так со мною обходишься?...

– Ты не так спрашиваешь: *за что*, это походит на то, будто я хочу тебя наказать за прошлое или мстить тебе; а этого за мной нет. Но спроси *почему* или для чего я тебе отказываю в пристанище, и я тебе скажу, не обвиняясь, что нам с тобою жить под одной крышей нельзя. Рассуди сам: мы смотрим врознь; общего в роде жизни нашей нет ничего; мы друг для друга не годимся.

– Да куда же мне деваться? – спросил жалким голосом Карпуша, который, лишившись жоака своего и наставника, был без него как без головы.

– Немножко поздно задаешь ты себе этот вопрос – я думаю, денег тебе станет на год веселой жизни; тогда опять спросишь кого-нибудь: куда деваться; может быть, посоветуют лучше меня.

Отчаянный Карпуша сделался смирен и кроток, как ягненок; он упросил Игривого позволить ему погостить у него только до уплаты денег, обещаясь выехать в тот же день, когда дело будет кончено, – послал домой за платьем и кой-какими вещами и через неделю отправился, сам не зная куда. Никто не слышал и впоследствии о том, куда молодой Гонобобель девался; а потому мы прощаемся с ним навсегда: он пропал без вести для нас, как и для прочих.

Выпроводив от себя благополучно несчастного Карпушу, который при всем отчаянии и малодушии своем бушевал, сердился, плакал, бранился и напивался пьян с горя и никому в доме не давал покоя, Игривый зашел к деткам. Это было вечером; они уже спали; а Маша сидела за грамотой и что-то так прилежно выписывала, что даже не слышала, как барин вошел, и вдруг торопливо привстала. Взглянув на лежавший перед нею листок, он прочитал: помяни господи во царствии твоем рабов твоих: Ивана, Семена, Кондратия, Ивана, Анну, Любовь, Марию. Что ты это пишешь, Маша? Что за поминовение?

– Хочу подать в церковь, Павел Алексеевич, по родителям – чтоб поминали их.

Игривый еще раз взглянул на листок и спросил:

– Да кто же это? Кондратий отец твой – а прочие?

– А тут матушка покойница да покойные господа. Любовь Ивановну голубушку я уже приписала в Покров, а теперь вот села было приписать и Семена Терентьевича... А это сыночек мой... Карпа

Ивановича да мужа своего я записать не посмела: бог вещь, ведь может статься, они еще и живы где-нибудь...

Привязанность эта и незлопамятность, даже относительно самого Шилохвостова, тронули Игривого. Подумав немного, он сказал:

– Ну, Маша, уж коли так, то вычеркни еще одно имечко из тех, что написала.

Маша глядела на него, ничего не понимая.

– Да, да, Маша; вычеркни еще одно имя; тут у тебя записан живой, или живая: Любовь Ивановна жива и здорова; слышишь, она жива, Маша!

Маша зарыдала и бросилась Павлу Алексеевичу в ноги. Он поднял и обнял ее и вскоре успокоил, рассказав, что Любаша действительно жива и никогда не думала умирать; что вести в то время пришли ложные, а теперь получил он от нее самой письмо. Опомившись, Маша пошла крестить спящих малюток и сама молилась, не зная куда от радостных слез деваться.

Объясним теперь в двух словах недоумение читателей. Любаша точно не думала умирать, но и слухов о смерти ее до Павла Алексеевича не доходило: все было придумано им в крайности, когда сумасшедший Шилохвостов вдруг стал настаивать, чтобы она непременно воротилась, и до того взбеленился, что готов был ехать за нею сам. Не видя никакого спасения для Любаши, Игривый написал ей об этом поспешно, присовокупив, что ей ничего не остается, как сказаться мертвою. Он советовал ей попросить кого-нибудь из надежных знакомых ее написать горестную весть эту прямо мужу и в то же время уведомить о том его, Игривого. Все это, как мы видели, было вовремя исполнено, и тайна сохранилась до настоящего времени.

Теперь Игривый вздохнул еще свободнее. Он терялся в размышлениях и сам едва мог поверить всем переменам, которые произошли в глазах его. Все то, что столько лет томило его, отравляло всю его жизнь, все, что, казалось, тяготело вечным, пожизненным бедствием над несчастной Любашей, – все это исчезло каким-то волшебным ударом с лица земли: Шилохвостова нет, и уже нет навсегда; он не с цыганами кочует по ярмаркам, он не возвратится уже оттуда избитым и оборванным, промотав лошадей, коляску и сюртук с плеч своих, – он выбыл навсегда, и никто на этом свете его

более не увидит. Любаша свободна; ей только двадцать три года, а Подстойное обратилось в собственность Павла Алексеевича, того самого робкого молодого человека, который так недавно еще стоял как ошалевший перед покойным Иваном Павловичем, когда этот в присутствии всей семьи своей хохотал до слез и кричал в уши ему: «С праздничком, сосед, а девки-то уж нет; выдали, брат, выдали, вот за проезжего молодца...» А теперь уже не было на свете ни самого Ивана Павловича, который с таким торжеством возглашал победу свою, ни старушки Анны Алексеевны, которая с недовольным и озабоченным видом слушала громогласные возгласы своего почтенного сожителя, ни даже этого знаменитого проезжего молодца, как будто кинутого судьбою поперек пути всем добрым людям, которым суждено было где-нибудь и когда-нибудь с ним столкнуться...

Игривый продолжал еще несколько месяцев спокойно свой род жизни, уведолив с осторожностью Любашу о том, что в отсутствие ее случилось, и успокоив ее насчет детей. Ответы ее приходили как-то чрезвычайно медленно, и Павел Алексеевич замечал в них какой-то странный, небывалый оттенок... Письма Любаша оставляли в нем с некоторого времени такое впечатление, будто она не досказывает чего-то, будто у нее на душе остаются какие-то заветные чувства и думы. Рассуждая об этом сам с собою, он, задумавшись, пересчитал по пальцам, что по смерти Шилохвостова прошло уже полгода, а затем поднял голову и спросил мысленно у самого себя, чего он теперь еще сидит на месте и почему бы ему не ехать за границу, пасть подруге своей в Мариенбаде как снег на голову и посмотреть, что из этого выйдет дальше. «Надобно быть таким чудаком, как я, – подумал он, улыбнувшись, – чтобы давно уже не сделать этого: еду. Зима не удержит меня, я еду не лечиться; весной воротимся...»

– Ну, Маша, – сказал он, когда стал готовиться в путь, – я покину тебя с ребяташками месяца два либо три: я поеду за вашей барыней. На тебя оставляю их: помни, что ты им мать взамен родной.

– Вы меня воскресили, Павел Алексеевич, – отвечала веселая Маша, которая весь день ясным голосом своим распевала песенки с детьми. – От ваших приказаний я ни шагу; а детки, сами знаете, и своих-то, может статья, не сумела бы так полюбить, как этих...

Приведя хозяйство свое в порядок на время отсутствия, Игривый сделал также несколько распоряжений, чтоб убрать у себя в доме комнаты и изготовить немного мебели.

– Вот эти синие стулья, – говорил он своему Ивану, – выкрасить хоть в белую краску – они пообтерлись, а это будет поопрятнее; их можно будет поставить в залу; а мой стул с шитым чехлом (работы Любаши) прибереги, чтоб его без меня не таскали.

Расцеловав детей и строго приказав им слушаться няни, Игривый в хороший зимний день покатил со двора.

«Я, благодарю бога, здоров и еду не лечиться», – повторил он про себя, улыбаясь, не подозревая того, что он точно нездоров и что именно едет лечиться...

В небольшом, но очень благовидном местечке живописной Богемии стоял укромный домик ратсгера, по-нашему – гласного, хотя бы и гораздо правильнее было называть этого гласного безгласным, – и в домике этом внизу жил сам хозяин, а вверху – постояльцы. Черепичная кровля была припудрена снегом; нагие сучья дерев виднелись через опрятно окрашенный забор; по улице казалось пусто, потому что в городке не доставало нескольких тысяч летних посетителей. Кто бывал там, помнит, вероятно, в числе обыкновенных прогулок так называемую мельницу, Амальину Гору, деревню Аушовиц, лесничий дом Кенигсварт и развалины Фрауэнберг. Все это хорошо летом, когда притом съезжаются в это местечко люди со всех концов света, кто по рецепту доктора, кто от скуки, кто для поживы; но в домике, о котором мы упомянули, гости остались и на зиму. Они занимали три комнаты; заглянем прямо во вторую. На небольшом диване сидит чета: молодая, прекрасная женщина, которой наружность теперь не станем описывать подробнее, и мужчина, несколько постарее ее, но также довольно благовидный, хотя и белокур до такой степени, что с первого взгляда можно догадаться о норманском его происхождении. Женщина со вниманием читает книгу, наклонившись вперед и положив руку на плечо мужчины, который, окинув руку вокруг гибкого стана своей подруги, облокотился другою рукою на стол и, внимательно следя за чтением молодой женщины, по-видимому поправляет иногда произношение ее и объясняет ей некоторые слова. Вслушавшись несколько в эти звуки, мы тотчас можем убедиться, что не ошиблись в родине белокурого

учителя: они читают книжку датскую или шведскую. Учитель, глядя несколько времени пристально в лицо ученице своей, забылся и не поправлял ее, хотя она, запнувшись, тщетно пыталась произнести какое-то мудреное слово на два или на три лада; она взглянула на него; голубые глаза их встретились на расстоянии нескольких вершков; он отрывисто поцеловал оба глаза своей подруги и сказал:

– Точка; смеркается, друг мой; испортишь эти дорогие глазки: береги их.

Она сложила книгу, улыбнулась и спросила по-немецки:

– Ну что, скажи мне правду, выучусь ли я когда-нибудь этому трудному языку?

– Да ведь ты же говоришь и теперь уже довольно свободно; чего же тебе еще? Мы познакомились с тобой в мае, помнишь? А ты стала учиться в августе – всего пять месяцев!

– Но мне бы хотелось чище произносить; нет ничего хуже, когда кто коверкает язык, не умея выговаривать слова, как должно.

– Еще полгода, – отвечал он, – и никто не поверит, чтоб ты была иностранка, которая теперь только начала заниматься чужим ей языком. Божусь тебе, я не постигаю, как ты с первого раза верно и чисто стала произносить наши двугласные, которых нет в других языках, и, кажется, всего менее в вашем.

– Ты мне часто это говоришь, – сказала она весело, – но ты не льстишь мне и не шутишь?

– Нет, друг мой, никогда ты от меня этого не дождешься: разве ты не видишь, что я каждый день радуюсь твоим успехам? Знаешь ли что? Одни только русские могут перенять так скоро и верно чужой язык, и этому две причины: во-первых, полногласность собственного их языка; во-вторых, общий обычай учить детей двум-трем языкам: после такого навыка не мудрено подделаться под всякое произношение.

– Ну, спасибо тебе, что ободряешь меня, – сказала она на языке своего учителя, который от радости бросился ее обнимать. Поцеловав его, она с кротостью отвела его руку и, встав, подошла к окну. Стройный рост, гибкий стан и пышная круглота членов обозначились во всей их красоте; свежее лицо дышало миловидностью, а русые, пепелистые волосы обращали на себя внимание необыкновенным для

этого цвета волос свойством – слегка курчавиться; приглаженные по обе стороны пробора, они сбегали легкой волной.

– Холодненько, – сказала она, подошед к железной печке на курьих ножках и с вычурными балкончиками, – у нас в России теперь теплее!

– У вас теплее? – спросил, изумившись, мужчина.

– Да, потому что у нас теплые печи; у меня была в моей комнате печь из синих изразцов, то есть с синими узорами; бывало, мой Ваня разбирает цветочки на них, а сосед наш, – ты знаешь, наш добрый сосед? – рассказывает ему, где фиалка, где незабудка...

Она замолкла, опустила взор и стояла несколько секунд в этом положении... Тук-тук-тук... молоточек, заменяющий наш звонок, ударил в двери, и горничная пошла отпирать. Кто-то вошел, и чужой голос спрашивал о чем-то девушку. Хозяева стали прислушиваться, – она, женщина, которую мы описали, едва только выпянула в первую комнату, как вскрикнула и рухнулась, будто пораженная молнией, на пол. Друг ее вскочил в соседней комнате с дивана и кинулся к ней на помощь; то же сделал вошедший с противной стороны посетитель, и оба, встретившись над лежащей в обмороке молодой женщиной и едва взглянув только друг на друга мельком, поспешно приподняли вместе обмершую и осторожно положили ее на диван.

Лишь только она стала немного приходить в себя, как неизвестный посетитель отошел в сторону, чтоб она его не видала, и, постояв немного, чтоб удостовериться в возвращении ее к жизни, вышел тихонько в двери и спустился по лестнице. По последним ступенькам шел он как-то неверно, покачиваясь, а внизу остановился, придерживаясь обеими руками; наконец он невольно присел, где стоял, прислонившись головой к перилам. В эту минуту выпянула из соседних дверей пожилая женщина, посмотрела на чужого и, сказав: «Ах, боже мой, что с вами? Вы больны, вам дурно», – позвала еще женщину на помощь, подала недужному стакан воды, а когда он несколько оправился, то просила его зайти отдохнуть, сожалея и извиняясь, что мужа ее, гласного, теперь нет дома.

– Мы вас видели, – сказала старушка, когда она усадила Павла Алексеевича Игривого на большие кресла, – мы вас видели, когда вы пошли наверх; но скажите, ради бога, что с вами сделалось и что делается там? Я говорю, мы видели вас, а потом услышали наверху, у

постояльцев наших, стук, какого никогда прежде там не бывало; мы послали туда девку узнать, что там сделалось, и слышим вот сейчас, что мадам Шильвакс сделалось дурно; я и хотела было заглянуть туда, думаю, не нужно ли какой помощи, выхожу да тут и вижу вас. Так это с вами случилось? И как же они вас так отпустили?

Игривый доволен был многоречивостью старухи, потому что мог в это время молчать и, сидя спокойно, отдыхать; но когда она наконец, в свою очередь, замолчала и ожидала ответа на вопрос свой, то он не знал, что отвечать на все это; он едва мог только опомниться, что и с кем и где он, – так все это неожиданно на него накинuloсь, – а чтоб у него в глазах позеленело, чтоб зашумело в ушах и голова пошла кругом – так этого с ним еще и отроду не бывало. Он, однако ж, собрался с силами и отвечал:

– Да, я поступил немного неосторожно – и ее напугал и сам перепугался. Я привез этой даме очень горестную для нее весть о смерти близкого ей человека – и она так была этим испугана, что ей сделалось дурно...

– Ах, боже мой, скажите!... Что ж, ей лучше теперь?

– Да, она уже пришла в себя.

– А вы, верно, также родственник ее? Вы из России?

– Да, я из России. Скажите, давно эта дама у вас живет?

– Давно; она уезжала раза три в Теплиц и еще в Прагу и другие места, но, возвращаясь, всегда опять у нас останавливалась. Прекрасная дама, предобрая! С тех пор как муж ее приехал, они живут у нас – вот уж третий месяц.

– Так это муж ее – я его ведь не знаю; кажется, его у нас, то есть на родине нашей, не было...

– Да, муж; это также приезжий, человек ученый, профессор; они, видно, познакомились где-нибудь здесь, поблизости, или в Праге; да, кажется, в Праге.

– Но вы знаете наверное, что это муж ее? Я не успел спросить ее об этом – да и не было для этого времени.

– Да, это ее муж; так они по крайней мере говоря, и почему ж в этом сомневаться? Они хорошие люди оба. Съездив в Прагу, мадам Шильвакс сказала вам, что получила письмо от мужа и что он скоро будет; вслед за тем он и приехал. Да, она добрая, хорошая женщина, прекрасная женщина; мы ведь знаем ее здесь давно.

– Однако ж я отдохнул и мне пора идти, – сказал он, услышав над хозяйской комнатой опять какое-то движение. – Прощайте, благодарю вас, извините, не взывайте за беспокойство...

Удушлив показался ему воздух на улицах Мариенбада; зимнее угрюмое солнце заткало светлую обитель свою серыми тучами; с соседних гор тянулись гряды облачка, ополчаясь против ведра и угрожая ненастьем. Игривый шел скоро; ему беспрестанно казалось, будто за ним кто-то гонится, будто его зовут; он бежал, придумывая, куда бы ему укрыться; наконец, запыхавшись, остановился, поднес руку ко лбу, перевел дух и заметил, что голова его очень тяжела и все еще идет кругом, а в ушах свист и гул. Он опянул – за ним все было пусто. Взглянув на проскакавшую мимо его почтовую коляску, он как будто вспомнил что-то и бросился опять беглым шагом вперед. Но посмотрим, что делает Любаша, опомнившись после обморока, потому что мадам Шильвакс, как называла ее хозяйка, переименовав по-своему прозвание Шилохвостовой, была не иной кто, как сама Любаша. Открыв глаза и облегчив удрученную грудь свою несколькими глубокими вздохами, она долго смотрела как спросонья, оглядываясь кругом, будто чего-то искала и припоминала, и, несмотря на нежные лобызания своего друга, не скоро еще окончательно пришла в себя. Друг или муж ее, кто бы он ни был, после многих усилий и стараний с трудом мог привести ее в чувство, и тогда только наконец обильные слезы облегчили ее томление.

– Зачем же он ушел? Куда он девался? – говорила она. – Это человек, который сделал мне больше добра, чем мои родители, которого я уважаю более, чем кого-либо в мире! Я хочу, я должна его видеть... Неужели он не воротится? Я хочу его видеть и сказать ему все и выслушать все от него, что бы он ни сказал, сколько бы упреков он мне ни сделал... Я не перенесу только одного: его презрения!

Датчанин поцеловал у ней руку, взял шляпу и обегал весь Мариенбад, но нашел только свежий, едва простывший след того человека, которого искал: Игривый уже уехал, и никто не знал куда; хозяину сказал он, что по спешным делам немедленно уезжает в Россию. Датчанин вздохнул, отер пот с лица и безнадежно побрел домой. Любаша была сильно поражена и встревожена этим известием; она долго рассчитывала что-то по "пальцам, спрашивая мужа: так ли? И наконец сказала: «Нет, он не мог еще получить моего

письма – он не знал еще ничего, и... и... о, как я перед ним виновата!...» – и, накрыв опять лицо руками, горько заплакала.

Спустя несколько дней, которые показались бедной Любаше годами и в продолжение которых муж ее тщетно искал Игривого с утра до поздней ночи, крестьянин принес ратсгеру письмо на имя Любаши и сам тотчас удалился. Она узнала надпись, сильно взволнованная разорвала обертку и принялась читать:

«Любовь Ивановна».

Она невольно вздрогнула и, переведя дух, продолжала:

«После нескольких бурных дней я наконец опять завладел собою и, кажется, могу говорить спокойно. Дайте ж мне высказать вам все, что у меня есть на душе; позвольте мне разъяснить себе самому все это на бумаге... Я в этом нуждаюсь – чувствую, что письмо будет длинно, – не пеняйте за это – оно, вероятно, последнее.

Я виноват перед вами вдвойне: во-первых, я слишком неожиданно явился перед вами, не испросив на это вашего согласия; во-вторых, вероятно, не менее растревожил вас и тем, что так внезапно скрылся, покинув вас почти прежде, чем вы опомнились от первого испуга. Но зачем же этот испуг? К чему или отчего он? С вами, Любовь Ивановна, я могу только говорить, как с самим собою, – или я должен молчать... Но я буду говорить... Я объясняю себе то, что с вами случилось, таким образом: все женские чувства ваши были некогда принесены на жертву и попораны недостойным образом; вам не дали узнать той любви, без которой такая женщина, как вы, существовать не может. Дружба ваша ко мне и преувеличенная признательность за мое сочувствие, – позвольте мне высказать все, для меня это необходимо, – эта дружба и признательность сделались, может быть, господствующими в вас чувствами и при угнетенном

положении вашего духа удовлетворяли вас – за неимением лучшего; сердце ваше могло иногда хотя несколько согреться среди этого холода, от которого костенели ваши члены и остывала кровь... Но птичка в клетке и птичка на воле, на просторе – не одно и то же. Все ожило в вас, когда вам дозволено было вспорхнуть и оглянуться на свободе; силы возвратились, грудь вздохнула глубоко, сердце забилося сильнее – и земное потребовало земного, а небесное небесного. Встреча в такое время с человеком, который достоинствами своими затмил перед вами многих, а может быть, и всех, который на чужбине явился перед вами, как посланный свыше, для спасения и успокоения вашего и избавления вас от грозивших вам неприятностей, который, наконец, и сам, может быть, еще впервые встретил подобное вам существо, – словом, встреча с таким человеком тронула вас, настроила душу вашу к тому чувству, которое, может быть, давно уже вас истомляло, не находя себе пищи... Что ж мудреного, если оно теперь увлекло вас и если вы теперь наконец, да, наконец, после стольких страданий, после четверти века жизни, после многолетней истомы и отчаяния, – если вы теперь не могли, да и не хотели налагать вязы этому чувству, которое вам впервые посулило на деле то, что прежде смутно представляли грезы тысяча одной ночи?

Вы видите, что я уже знаю все или удачно дополняю своим воображением то, чего не успел узнать. Словом, я знаю довольно, я понимаю вас и положение ваше; узнаю в вас все ту же Любовь Ивановну, которая не пугалась приезда алексеевского соседа в Подстойное, но была поражена прибытием его в Мариенбад. Путь подальше; нельзя было ожидать его сюда, этого соседа, – так; но верьте: и вы те же и сосед все тот же.

Успокойтесь же: вы вправе были располагать собою, и никто в мире не может сделать вам за это упрека. Вы принадлежали только себе и более никому. Если сосед этот и строил когда-нибудь воздушные замки, то никто, по крайней мере ни вы, никто, говорю, не давал ему ручательства в

осуществлении его бреда. Вы не станете судить строго этого соседа, если он и обманывал сам себя временно – как, может быть, и вы некогда обманывались; он пробудился от обаятельного сна, не ропщет на суровую действительность, а благодарит даже за то, что был некогда счастлив во сне, и говорит: если даже избранному суждено жить только воспоминаниями и надеждой, то рядовой может удовольствоваться и одними первыми; он еще будет в барышах против того, кто век свой должен тешиться одною только надеждой, между тем как у него все прошлое представляет залежь, поросшую чертополохом...

Вы видите: бывший и нынешний сосед ваш – мудрец... О нет, не шутите так! Он ребенок, но он по крайней мере в состоянии написать вам то, что вы теперь читаете, и рука его, кажется, не дрожит...

Итак, одно кончено – вы в своем праве и обязаны отчетом в том, что вы делаете, самой себе, более никому. Теперь два слова о другом: о насущном.

Ваш муж, как ученый, привязанный к родине своей званием и местом, которое занимает и которое его содержит, уже по одной этой причине в Кострому не поедет. Вы знаете также, что все опять тот же сосед лишил вас всего вашего достояния, воспользовавшись удобным случаем, чтоб присоединить его по соседству к своему. Вы, сверх того, конечно, знаете и то, что, собственно, ваше имение, если б оно и уцелело для вас, по незначительности своей не могло бы содержать вас с семейством. Итак, если еще ко всему этому вспомнить, что «жена да последует мужу», то позволено заключить, что Кострома вас более не увидит. Этому так и быть должно – по многим причинам, и потому позвольте мне считать это решенным; в таком случае вы будете исправно получать небольшие доходы с вашей вотчины, где бы вы ни находились, а дети ваши... о детях ваших забудьте, как обо всем прошедшем: они мои дети – дети мои будут воспитаны, пристроены и обеспечены со временем всем достоянием названного отца их.

Вот, кажется, все... Рука не повинуется, не пишет прощания навек, хотя голова и освоилась уже с мыслию, что этому быть так, а не иначе... Ответ ваш я получу в Алексеевке; напишите мне несколько строк: это меня укрепит и успокоит; благословите заочно на добрые дела...»

– Ради бога, – воскликнула Любаша, обливаясь слезами, – ради бога, друг мой, отыщи этого человека! О, он жесток, даже своим великодушием, – я его должна, должна видеть!...

На светло-голубых глазах датчанина навернулись слезы; он крепко обнял подругу свою и, схватив шляпу, снова пустился на поиск. Долго бегал и спрашивал он безуспешно – как ему вздумалось воротиться опять домой и расспросить еще раз хорошенько хозяев своих, которые приняли от крестьянина письмо. Здесь он узнал, что крестьянин, подавший письмо это, по всей вероятности, был из селения Аушовиц. С этим сведением датчанин поспешил наверх, изъявляя Любаше готовность свою ехать в селение это сейчас же в надежде отыскать там беглеца. Она обняла друга своего за добрую весть, но не хотела и слышать, чтоб ему ехать сперва одному на разведку. «И я с тобой, и я с тобой!» – говорила она и уже хваталась рукой за салоп и шляпку. Через полчаса они катились по направлению к горам среди обмершей, но все еще прекрасной природы.

Недолго искали они в Аушовице, как им указали на небольшой крестьянский домик, сказав, что там на днях остановился приезжий из Мариенбада и притом иностранец. Чета наша подъехала к крылечку этого дома; сердце Любаша забилося так, что она с трудом переводила дух и, входя в сенцы, опиралась на своего друга; он растворил дверь, чтоб спросить хозяина, и Павел Алексеевич стоял перед ними.

Любаша бросилась с громким восклицанием ему на шею.

– О, какие вы! – сказала она, опомнившись несколько и успокоившись. – О, вы жестоки!

– Этого я не хотел, – отвечал он, собравшись с силами, – нет, не вините меня в этом, Любовь Ивановна...

– Нет, нет, не виню, – продолжала она. – Мне вас винить?... Нет! Это было только так сказано, чтоб облегчить сердце... Но вы все-таки

жестоки! Оставить меня целую неделю среди этой пытки... И вы меня прощаете? И вы можете меня простить?

– От всей души и чистого сердца прощаю, если вы только полагаете, что в чем-нибудь против меня виноваты, чего я, однако же, не знаю. Я высказал вам в письме все.

– Все, и от искреннего сердца?

– Все, и от искреннего сердца. У меня нет на душе более ничего. Я бы мог только разве для полноты покаяния прибавить к этому, что хотел было попенять вам, для чего вы не уведомили меня о том, что сделалось; но я рассудил тут же, что и это было бы глупо; кто мне дал на это право?

– Так обнимитесь же, – сказала она, сведя быстро вместе обоих друзей своих и кинувшись сама третья в общие их объятия. – Мир и любовь навсегда! Благодарю его, – продолжала она, обратившись к мужу, – благодарю за все то, за что нельзя отблагодарить никогда...

Они побеседовали вместе несколько часов; тут было пересказано все, как и где молодые наши встретились, по какому случаю познакомились, какие услуги он ей оказывал, как заботливо ухаживал за больною, отыскав ее брошенную без призрения и помощи, как она узнала в нем того человека, без которого не могла жить, и как он очутился точно в том же положении, и прочее. Любаша объяснила также и последнее недоумение Игривого: она действительно была уже обвенчана с датчанином, но по какому-то ложному стыду долго не решалась писать об этом Павлу Алексеевичу и наконец писала подробно несколько дней перед его приездом, почему он и разъехался с письмом. Когда зашла речь о детях Любашы, то она со слезами на глазах схватила руку его и хотела было ее поцеловать. Игривый узнал в датчанине, как и полагал по слухам, человека с большими достоинствами и с чувством.

Наконец должно было расстаться: не надеясь более на силы свои, Павел Алексеевич не решился на этот подвиг; он обещал еще навестить друзей до отъезда своего, с твердым намерением не исполнять этого, обнял еще раз обоих, и, несмотря на общие восклицания: «До свидания», он их не видал более. Он выехал рано на другой день и гнал безостановочно до самой Алексеевки.

Приехав домой, он долго обнимал детей, которые повисли у него на шее, а затем и Машу, благодаря ее за материнское об них

попечение. «Даст бог, скоро увидишь свою барыню, – сказал он ей, – она хотела быть сюда на тот год с мужем, за Анютой. Ваня остается у нас».

Маша была в одно и то же время так обрадована предстоящим ей свиданием с Любашей и опечалена скорой утратой своей Анюты, что не могла ни печалиться, ни радоваться, а со свойственной ей кротостью безропотно предалась судьбе своей. Но ей долго еще не пришлось расстаться с своей воспитанницей: в году много дней и часов – и через год многое переменилось. Через год Павел Алексеевич получил заграничное письмо с черною печатью; в письме этом муж Любаши – к сожалению, уж не на шутку – уведомлял его с отчаянным сокрушением, что лишился своей подруги после непродолжительной болезни. Человек твердеет постепенно, мужаясь против непрестанных ударов рока, – и под конец нет уже такого удара, который бы мог сокрушить его. Игривый, не унывая, продолжал начатое благое дело и кончил воспитание Любашиных детей. Ваня хотел идти в военную службу; Игривый предоставил ему в этом отношении полную свободу, но с тем только условием, чтоб он наперед чему-нибудь путному научился, а потому и требовал, чтоб он кончил прежде курс в университете. Ваня исполнил это добросовестно и пошел в гусары.

Анюта росла и выросла дома, и надобно признаться, что только разве такой матушке, какова была Кондратьевна, то есть Маша, при таком названом отце, каков был Павел Алексеевич, можно вырастить и выходить без матери и без посторонней помощи такую девушку, какую выдалась Анюта. При достоинствах ее и общеизвестности богатого приданого, которым Павел Алексеевич ее наделял, можно бы приноровить к ней и к толпе женихов ее сказку о Сивке-Бурке или о Несмеяне-Царевне. В самом деле, в Алексеевке три-четыре года сряду не было отбоя от женихов: так падки были и в то время уже костромитяне на пригожих, умных и богатых невест. Наконец Анютин час ударил, и дело состоялось: судьба в этом отношении была к ней несравненно милосерднее, чем к бедной ее матери: Анютин муж был человек достойный. В числе приготовлений к свадьбе Игривый, между прочим, выкрасил старинные, некогда голубые, а потом белые стулья свои под красное дерево. Отпраздновав же свадьбу, обняв и окропив родительскими слезами свою названую дочь, Павел Алексеевич опять

остался в берлоге своей один и стал по-прежнему трудиться для других, хозяйничать и копить для своих названных детей.

Об эту-то пору Павел Алексеевич жил в Алексеевке истинным патриархом, среди крестьян своих и соседей, жил домоседом, заботясь только о своем хозяйстве да потешаясь по длинным вечерам доморощенным сказочником и наемным понукалкой; а истинным праздником для него был тот день, который приносил ему письмо, – потому что письмо это, наверное, было от Вани либо от Анюты: другой переписки в Алексеевке не производилось. Тогда призывался верный Иван, который служил Игривому уже тридцать лет, и призывалась мамушка Кондратьевна, бывшая солдатка Маша, – и письма перечитывались по нескольку раз; в такой вечер и сказочник и понукалка увольнялись.

Дошед наконец в рассказе нашем до того отдела жизни Игривого, в котором мы изобразили его при самом начале повести, мы можем повторить: не бывает ли иногда наружность обманчива, – и как знать, что человек передумал, перечувствовал на веку своем, прежде чем он сделался тем чудачком, каким мы его узнали?

В другом месте и при других данных Игривый, вероятно, сделался бы человеком более замечательным, или, вернее, более замеченным; вы, может быть, убедились, что у него достало бы на это и чувства и ума; напротив, при тех обстоятельствах, которые его окружали, он одичал немного и огрубел; он даже бегал от выборов и по чудачеству своему не хотел идти ни в депутаты, ни в как бишь их еще... Но, бесспорно, сделавшись чудачком, он остался, однако же, в малом кругу своем полезным и примерным по благородству человеком и примерным отцом чужого семейства.

notes

Примечания

Впервые – «Отечественные записки», 1847, том 50, кн. 2, за подписью: *В. Луганский*.

Гаркушин курган. – Семен Гаркуша – легендарный украинский повстанец конца XVIII века.

С 1819 года студентам, окончившим успешно университетский курс, присваивалась ученая степень действительного студента и окончившим с отличием – кандидата наук.

3

В Украине поднесение жениху тыквы (гарбуза) означало отказ.

Все это происходило, как видно из окончания повести нашей, несколько десятков лет тому назад. Замечаем это во избежание недоразумений. *(Прим, автора.)*

Лист Ференц (1811 – 1886) – знаменитый венгерский композитор.

Виардо (урожд. Гарсиа) Мишель Полина (1821 – 1910) – французская певица, композитор и педагог.

Мариенбад, Теплиц (Теплице) – австрийский и чехословацкий курорты в горах Богемии.